



Валентин Костылев

**Иван Грозный. Книга 2. Море**

«Public Domain»

1943–1947

## **Костылев В. И.**

Иван Грозный. Книга 2. Море / В. И. Костылев — «Public Domain», 1943–1947

В нелегкое время выпало царствовать царю Ивану Васильевичу. В нелегкое время расцвела любовь пушкаря Андрея Чохова и красавицы Ольги. В нелегкое время жил весь русский народ, терзаемый внутренними смутами и войнами то на восточных, то на западных рубежах. Люто искоренял царь крамолу, карая виноватых, а порой задевая невинных. С боями завоевывала себе Русь место среди других племен и народов. Грозными твердынями встали на берегах Балтики русские крепости, пали Казанское и Астраханское ханства, потеснились немецкие рыцари, и прислушались к голосу русского царя страны Европы и Азии. Вторая книга трилогии – «Море» – посвящена сложному периоду утверждения Руси на берегах Балтики в середине XVI века, последовавшему за покорением Казани и Астрахани, сибирского хана Едигера и Большой Ногайской орды Иваном Грозным

© Костылев В. И., 1943–1947

© Public Domain, 1943–1947

# Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	72

# Валентин Иванович КОСТЫЛЕВ

## ИВАН ГРОЗНЫЙ

### Книга 2. Море

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

Звездные ночи, тихие, робкие...

У московских застав караульные всадники чутко прислушиваются к каждому шороху, зорко вглядываясь в темноту. В голове – тревожные мысли.

Война! Король Сигизмунд своих бродяг засылает сманивать из Москвы людей служилых («мол, все одно не победите!») – озлоблять народ против царя... Шныряют они по кабакам, по базарам; в храмы Божии, в монастыри, и туда залезают... втихомолку сеют смуту.

Известно издавна: черт бессилен, а батрак его силен!

Народ неустойчивый уже появился, бегут в Польшу, к врагам... Дивное дело! Не бедняк бежит от помещичьего ярма, а знатные вельможи, служилые люди... Чего им-то не хватает? Чудно! И куда бегут! К кому!

Простой воин, стрелец, себе того в толк взять не может: как это так? Из своей родной земли в чужую землю убежать, да еще в неприятельскую?..

Но что бы там ни было, стрелец свое дело знает. Попадись ему вельможный беглец либо соглядатай – пощады не жди! Недаром государь-батюшка милостив к стрельцам. Спасибо ему! Да и то сказать: без столбов и забор не стоит. Как царю-то без верных слуг?!

Попробуй-ка, поберись незаметно в Москву!

В одну из таких ночей к московской заставе, хоронясь в оврагах и кустарниках, прокрадывался пришелец с берегов Балтийского моря, датчанин Керстен<sup>1</sup> Роде. Дорогою он много всего наслушался про строгость московских обычаев, узнал и о королевских происках в Московском государстве и об изменах... Попасть в руки сторожей, не добравшись до дворца московского государя, – значит надолго засесть в темницу. Датские купцы, побывавшие в России, уверяли, будто царь благосклонен к иноземцам, особенно к мореходам, но что есть бояре и всякие чиновные люди, которые против того и пускаются на хитрости, чтобы стать между царем и его иноземными гостями. Правда или нет – осторожность не мешает.

Керстен Роде безмерно высок, худ для своего роста. Одет в короткий жупан из невиданного в Москве белого в желтых яблоках меха. Движения его плавно-неторопливы, размашисты, словно не идет он, а плывет, разбивая руками воду.

И вот этот морской бродяга, привыкший к опасностям, вдруг в испуге нырнул в кустарники.

Совсем недалеко от него, будто из камня высеченный, на громадном косматом коне грузный, страшный бородач.

Пришлось поглубже уткнуться в ельник.

Лишь бы не учуяли псы. Они в этой стране чересчур сердиты. Не раз приходилось отбиваться от них дубиною. Не любят чужих людей.

---

<sup>1</sup> Христиан.

На бугре, рядом с бородачом, появились еще два всадника в больших косматых шапках, толстые, круглые, плечистые. Сколько в них силы и самоуверенности!

«Любуйся, корсар Роде! Вот бы тебе таких молодцов на море! Керстен Роде тогда стал бы королем корсаров! Перед силой корсар всегда готов преклониться. Однако... пока еще рано, даже и ради любопытства, попасть в руки этих загадочных богатырей. Ах, как хочется еще пожить и погрешить на белом свете!»

Впереди – высокий, выпирающий из сугробов вал, а на нем опутанный еловыми ветвями частокол.

Поодаль, за эту преградою, бревенчатые вышки церквей; на их остроконечных шатрах, как и повсюду в этой стране, мирно сияют освещенные луной кресты.

Московиты тоже христиане, а в Европе прославили их язычниками. А впрочем, пират, приговоренный в трех странах к смертной казни, не должен быть разборчивым. Ну что же, если и язычники? В этом ли дело? Мало ли всяких бродяг из западных стран потянулось в Москву! Убытка от того им не было. Возвращаются домой, не раскаиваясь, с толстым брюшком и деньгами. И многие из них, пожив у себя дома, опять бегут в Московию. Что-то их тянет сюда. Нашлись и такие хитрецы, – сами липнут к России, а других пугают, царя изображают каким-то чудовищем, дракону подобным... Теперь уж этому и верить не стали... Он, Керстен Роде, знает, что делает. Лишь бы до царя добраться.

«О Боже! Не причисляй меня прежде времени к лику райских праведников! Помоги смиренному скитальцу своим заступничеством, умудри его благополучно перелезть через этот проклятый вал!»

В нарядных хоромах на берегу оснеженной Неглинки, рядом с уютной церковкою преподобного Сергия, что в Пушкарях, – скрип половиц, тихий, ласковый голос. То хозяйка дома, супруга царского слуги и любимца, Василия Грязного, Феоктиста Ивановна, подымает с постели своих сенных девушек Аксиною и Ольгу. Вскочили, щурясь от огонька свечки, давай неистово чесаться. С чего это матушка Феоктиста Ивановна по дому ни свет ни заря бродит да спящих сенных девок будит?! Уж не приехал ли, спаси Бог, в хмельном виде сам батюшко Василий Григорьевич со своими товарищами, разудалыми молодчиками, – тогда берегись! Беда! Угроза девической чести. Озорники они, Бог их прости!

– Полно, глупые! Чего испужались? – Тихо приговаривая, касается хозяйка своею рукой теплого, гладкого тела то одной, то другой девушки. – Вставайте! Сердечко щемит, милые!.. Соснуть не могу... Чует оно беду, чует!.. Оденьтесь да обуйтесь, проводите меня к вещунье, к тетке Сулоихе... Пожалейте меня одинокую, мужем отринутую!.. Нет ему, чтобы посидеть дома да, как государю в своем доме порядливому, жену доброму делу поучить, пострадать ее наедине, наказать, а после того и пожалеть ее, приласкать по-хорошему... Увы, не удостоил меня Господь того счастья... Горюшко-горе, и што поделать... и ума не приложу!

Заспанные, дрожащие от холода, связывая наскоро узлами свои косы, в одних рубахах, заметались Аксиныя и Ольга. Накинули на себя стеганные летники и бросились в переднюю горницу, чтобы обрядить в горностаевую шубку свою хозяйку, да и самим одеться потеплее. Не лето – декабрь, и притом сердитый, морозный...

– Полно тебе, наша государыня-матушка, Феоктиста Ивановна! Не убивайся. Стерпится – слюбится. В чистом сердце Бог живет, покорится ему и Василь Григорьич... Личико твое словно яблочко, ручки беленькие, добренькая ты... Бог тебя не оставит!..

Девушки принялись наперебой утешать хозяйку:

– Что уж тут, матушка!.. Время наше лютое, мятежное. В церковь боязно ходить... Народ лихой объявился... Василь Григорьич, батюшко, царское дело справляет... Воров ловит. Ништо, цветик наш, Феоктиста Ивановна, смерть да жена – Богом сужена. Не отступится он от тебя... николи!

Феоктиста Ивановна, слушая девушек, разомлела в слезах:

– Милые вы мои!..

Крепко обняла их, поцеловала по очереди.

Где-то в углу скребется мышь. Свечка озаряет тесовые чисто вымытые стены, железные доспехи на них, бердыши, саблю.

Тихо, перешептываясь, стали прокрадываться на крыльцо.

Кошка прыгнула. Ахнули от страха, прижались к стене. Закрестились. Почудился оборотень. Пригляделись – рыжая Завируха... Видать, мышонка изловила, желтоглазая.

– Ишь ты, дура! Пошла прочь! – толкнула ее ногою Аксинья.

На воле – стужа; огромная, чуткая морозная московская ночь. Месяц небрежно раскидал зеленоватые лучи по крышам приземистых домишек, по надворным постройкам, изгородям и запорошенным кустарникам на побережье.

– Как светло, – молвила, затаив дыхание, Феоктиста Ивановна и, вспомнив, что сегодня день Варвары-великомученицы, добавила: – «Царствуй, девице, со Христом вовеки, Варвара прекрасная».

Фиолетовые искорки в саду – сколько их! Ели в серебряных кокошниках, словно не снег держат они в своих широко раскинутых подолах, а целые россыпи чудесных самоцветов.

Пар исходит от дыхания; холодок забирается под одежду...

Жутко, никого нет. К гадалке два проулка и небольшой овражек. Избенка ее, в одно окошечко, сбоченившаяся, вон там, ютится на самом краю оврага. Будто и недалеко, а страшно.

– Не вернуться ли нам домой, матушка-государыня? – прошептала Аксинья, дрожа всем телом.

– И то правда... – подтвердила Ольга, перекрестившись.

Феоктиста Ивановна тяжело вздохнула:

– Нет, родимые... Не могу!

Аксинья шепотом:

– Теперь самая пора для нечисти, для лихих людей. Целые свадебные выезды они обращивают в волков, портят они людей, в грех вводят. А гадать грешно! Нечисть потешается, глядя на гадалыщиков.

Никакие слова не помогали, Феоктиста Ивановна стояла на своем, хотя в душе и сама боялась всего: и леших, и колдунов, и греха, и наказания божьего. В самом деле, вдруг нечистая сила из-за елей либо из овина, а то из бани, выскочит... Что тогда делать? Тетка Устинья только вчера видела своими глазами жердяя... Предлинный он, и худой, и любит бродить ночью по улицам. Ходит, заглядывает в окна, греет руки в трубах домов, любит пугать людей... Он осужден на вечное шатанье по белу свету, без толку, без дела... Не столкнуться бы с ним, спаси Бог!

Так и этак – обсудили – идти!.. Феоктиста Ивановна набралась смелости, передернула плечами: «Ничего не боюсь!» – пошла первая, впереди всех.

И вдруг... свят, свят, что такое?

В ужасе вскрикнула, вцепилась в девушек. Те ахнули, уткнулись лицом ей в грудь: «Оборони, Господи!»

Улицу перебежал кто-то худой, длинный, ну, словно бес. Бежит крадучись, вприпрыжку, как будто заигрывает с ними... хочет их рассмешить... «Ах, окаянный!»

– Милые мои, видите? – прошептала Феоктиста Ивановна. – Нечистая сила... Жердяй!

Бросились с визгом обратно домой. Вбежав в сени, накрепко замкнулись, наставили мелом кресты на всех дверях. Поднялась суматоха. Конюх Ерема, долговязый парень с громадными кулачищами, и тот заорал спросонья, полез в запечье, сбил с ног Аксинью. «Ну, ты, Потап-раскоряка!» – огрызнулась девка, стукнув конюха по потной спине. Тут еще прибежала

в одной рубахе старая ключница Авдотья, плюхнулась на пол, не разобрав, в чем дело. «Прочь, прочь, окаянное лихо! Не мешай Богу служить!» – причитала она.

И вот при этом-то общем испуге послышалось игривое постукивание в наружную дверь, словно камешком либо косточкой: тик-так, тик-так!

«Ой! Ой! Ой! Жердяй!»

Похолодело сердце у Феоктисты Ивановны, язык отнялся, – хочет крикнуть и не может. Никто не тронулся с места.

Но игривое постукивание продолжалось недолго: вскоре весь дом содрогнулся от сильного стука в дверь и послышался знакомый голос.

– Господин наш, Василь Григорьич! Отворяйте! – придя в себя, крикнула хозяйка.

Старая Авдотья оказалась куда смелее молодых. Закряхтела, заворчала, а все же поднялась с пола и торопливо поплелась, прихрамывая, в прихожую.

– Ты ли это, батюшка наш Василий Григорьевич? – спросила она, подойдя к двери.

Все ясно услышали сердитый голос хозяина. Засуетились.

Отлегло у всех на сердце: «Слава тебе Господи! Не жердяй!»

Феоктиста Ивановна заторопилась навстречу мужу.

Вместе с густыми клубами ледяного холода, хлынувшими в переднюю горницу, вошел сам хозяин дома, Василий Григорьевич Грязной. Его пышные черные кудри заиндевели, усы и небольшая бородка побелели, щеки разругались. Цыганские озорные глаза оглядели всех насмешливо:

– Ага! Испужались? То-то!

Развязывая кушак и снимая саблю, он весело сказал:

– Гостя привел. Хотел нас обмануть... Нет, брат, шалишь! Не тут-то было. Попался голубчик.

Он указал жене рукой на длинного, худого человека, чудно одетого. Его держали за руки двое дюжих стражников. Незнакомец бормотал что-то на непонятном никому языке. Бороды нет – одни усищи. За ним, громко смеясь, вошли со двора дворянин Кусков, ближний друг Грязного, постоянно сопутствовавший ему в ночных объездах Москвы, и еще двое дворян.

– Вот, гляди, какого я зверя взял, – продолжал Грязной, обращаясь к жене. – Пропустили мы его через засеку да и облаву учинили. Мой жеребец не такой бегун, как эта образина... Выпустите его. Не держите... Спас я его. Ладно ко мне попал, а не к боярину Челяднину, а то бы сидеть ему в темнице.

Освободившись от своих провожатых, чужеземец размял руки, вытянулся, окинул ястребиным взглядом окружающих, снял шапку и холодно, пренебрежительно поклонился жене Грязного. Он еще не отдышался после бега.

– Ишь ты, как дышит, ровно лошадь, – усмехнулся Грязной. – А человек, видать, забавный... Надобно узнать, кто он. Эй, Павел! Сбегай позови толмача Алехина.

Самый молодой из спутников Грязного, одетый в стрелецкий кафтан юноша с едва пробивавшимися усиками, быстро исчез за дверью.

Василий Грязной и его друзья помолились на иконы и расселись на скамьях вдоль стены.

– Будто и не враг, не согладатай, а харя разбойничья... по всему видать – немчин...

– Королю нетрудно и немчина подослать... Немца купить дешевле онучи... Торгуют они собой, будто распутные девки. Где богаче заплатят, туда и идут! – брезгливо проговорил Кусков, зло оглядев с головы до ног незнакомца. – Нанимаются.

– А прозвище тех людей – кнехты, по-нашему же...

Грязной произнес неудоборекое слово.

– А вдруг, жена моя, государыня Феоктиста Ивановна, полонили мы и впрямь королевского языка?! Нам это на руку.

Феоктиста Ивановна недовольно покачала головой и вздохнула:

– Не след бы тебе, батюшка, сударь мой Василий Григорьевич, сию гадину в дом к нам приводить... Поганые они, немцы-то!.. Грешно их в избу пущать...

Грязной насупился.

– Не соромь царского слугу, глупая! Уж лучше молчи... Грешно было бы упустить сего басурмана. Служат они нашему врагу – королю Жигимонду. Али забыли мы, как за немцев лифляндских заступился он да на города наши напал? Немалый убыток понесли мы от сего бесчестия. Изловить королевского соглядатая, что ли, грешно? И коли то грешно, принимаю сей грех на себя. Приму. Приму сполна! Царским слугам, что служат правдою царю, все одно не пировать в раю. И монахи то предсказывают, и заволжские старцы. Одни, по их словам, бояре в рай попадут. А докудова што будет – ставь вино. Немчина напоить надо, будь с ним ласкова; и ты, Кусков, глазищами не пиявь его... Пускай простаками нас считает. Царь-батюшка любит, когда иной раз иноземцы так думают. Так им весело, а нам выгодно.

Грязновские друзья оживились, стали приветливее с заморским гостем.

– Соблюдем, Феоктиста, обычай!.. Поклонимся гостям по старине. Починай с немчина...

Феоктиста Ивановна побледнела, в ужасе перекрестилась:

– Уволь, батюшка, господин мой. Боюсь! Да и срам.

– Н-ну! – грозно покосился на нее Василий, сдвинув брови. – Для виду-то. Невзаправду.

Супруги стали среди горницы.

– Бьем челом, дорогие гости! – отвесив общий поклон, нараспев сказал Грязной. – Не взыщите, коль скудным покажется вам угощенье наше. Ну-те, облобызайте супругу мою, как то нам из роду в род заповедано, коли гостей принимаем.

Гуськом стали подходить все к Феоктисте Ивановне, отвешивая ей низкий поклон, а затем, обтерев рукавом усы и бороду, прикладывались к ее губам. Отходя, тоже кланялись.

Феоктиста Ивановна знала, что ее супруг во хмелю любит озорничать, любит посмеяться над ней, и все же она никак не ожидала, чтобы он позволил лобызать ее какому-то нехристю, бродяге, – ведь грешно!

Грязной насильно подтолкнул к ней растерявшегося от неожиданности чужеземца, крикнув настойчиво: «Целуй, целуй! Не обижай нас!»

С отвращением Феоктиста Ивановна приняла поцелуй иноземца. После того вышла за дверь, плюнула, прополоскала и перекрестила рот: «Чур, чур меня!» Всплакнула.

Грязной усадил за стол чужеземца: «Бес с ним! Пускай сидит». Феоктиста Ивановна вновь вышла к столу – блещущая здоровьем московская красавица; раздумянулась от волнения и от досады на мужа. Стройная, полногрудая. Чужеземец украдкой покосился в ее сторону. Вздохнул.

– Ну, ты, матушка! – крикнул Грязной. – Потчуй гостей. Развеселись. Гостьбу блюсти – не коров пасти.

Хозяйка скрылась в дверях и тотчас же вернулась в горницу, сопровождаемая сенными девушками, которые, потупив взоры, несли на серебряных подносах вино, хлебы, рыбу, жареное мясо, грибы соленые, капусту квашеную.

Дворянин Кусков, первым получивший чарку, согласно обычаю, передал ее Грязному, тот передал жене. Она, пригубив, отдала чарку мужу. Тот залпом выпил вино.

Начался пир горой.

Уже когда свечи стали отекать, а гости хмелеть, явился толмач Михаил Алехин, дьяк Посольского приказа, длинноволосый, черный, с мясистым красным носом человек.

– Мишка! Михаил! Будь гостем! Приобщись! – крикнул Грязной, протянув ему чарку. – Испей винца зеленчатого.

Дьяк наскоро перекрестился, отвесил порывистые поклоны хозяину и гостям и, как-то легко, ловким взмахом руки опрокинув в рот чарку, обтер усы, повертел в руках чарку, вежливо улыбнулся.

– Што? Мало? – расхохотался Грязной. – Хлебни, когда так, еще!

Дьяк деловито, с угрюмым добродушием, принял от хозяина новую чарку и с тем же широким, мягким разворотом руки выпил и это вино. Опять вежливо улыбнулся и опять стал игриво вертеть в руке чарку.

– Ну, буде! – произнес Грязной. – Устремил свой взор сюды, на эту образину. Кто она, откуда, чья? Не королевский ли соглядатай? Да спроси этого сукина сына, как его звать. Распознай, разведай.

Грязной властно ткнул пальцем в сторону чужеземца, усердно жевавшего мясо.

Алехин почесал бороду, покосился на бражный стол и как-то нехотя, лениво стал опрашивать чужеземца, которому Грязной снова подлил вина.

Чужеземец привстал, приложил ладонь правой руки к груди и с пьяной улыбкой ответил на вопросы дьяка.

– Гляди, какая дылда, – усмехнулся Грязной. – Под самый потолок. Им бы ворота подпирать.

– Слушай! – кивнул ему дьяк. – Полно глумиться. Звать сего верзилу Керстен Роде... Дацкий человек... Бывалый.

Грязной и все гости оживились.

– Ну, слава Богу! – облегченно вздохнул Грязной. – А мы думали – немец. Сыты уж мы немцами, устали колотить их, окаянных, в Ливонии. Дацкий, стало быть? Батюшка-государь с дацкими милостив. А пошто пожаловал к нам?

– С человеком нашим повстречался он в Антропе<sup>2</sup>. С купцом. И сказал тот ему: царю-де надобны мореходного дела мастера. Вот детина и побрел в Москву... Мореходец он. Корсар.

Грязной вскочил с места, обнял Алехина.

– Корсар? Ну, Мишка, удружил! Напою тебя до полусмерти!.. Чай, на царском дворе токмо и разговоров што о корсарах. Спасибо купчине! Надоумил сего лыцаря. Скажи ему: завтра же доложим о нем батюшке-царю. Государь сказал – с морскими разбойниками надобно бороться разбойнику ж.

Алехин перевел слова Грязного датчанину. Тот через силу поднялся и поклонился...

– Сразу видать вора... – самодовольно произнес Грязной. – Спроси, кто у него царь. И почто покинул свою родину. От нас убегают в чужие земли токмо изменники.

В ответ на расспросы толмача Керстен сказал:

– Я сын океана. Родился на корабле и умру на корабле. Мой король скучает обо мне не меньше, чем польский и шведский... Если ваш царь меня не повесит, он полезное для себя дело сделает... Я могу быть ему верным слугой. На виселицу народ найдется и без меня. Я могу вам пригодиться.

Василий Грязной и его гости громко расхохотались. Грязной очень доволен остался ответом чужеземца. Похлопал его по плечу и снова налил ему вина.

– Отчаянная голова, видать, сей проходимец, – весело промолвил Кусков. – Обождите. Все узнаем.

– Наш государь, Иван Васильевич, обрадуется. На морях нам шведы да королевские пираты ходу не дают. Пуская послужит батюшке великому князю. Короли не гнушаются разбоем... Живут им. По всем морям ходят их разбойничьи корабли... Опять наших купцов полонили! Чего же ради нам быть голубьями? Станем и мы такими же. На воров и мы будем воры.

Феоктиста Ивановна незаметно удалилась из горницы, спряталась за дверь, с дрожью прислушивалась к беседе толмача с чужеземцем. Услышав, что у них в доме сидит «морской разбойник», она едва не упала в обморок.

Алехин угрюмо покачал головою:

---

<sup>2</sup> Антверпен.

– Уволь. Не хочу толмачить. Здесь не царев приказ. Наше дело – не для посмешища... Наше дело осторожное.

– Обиделся? На, на, пей! – Грязной начал усердно угощать его. – Ты, Михаил, нос не задирай! Спесь до добра не доведет. Государево дело вершим не токмо в приказах, а повсюду. И в кабаках, и за чаркой вина, и в развеселой беседе... Понимай!

Черные игривые глаза Грязного подозрительно сощурились.

– Не мне спесивиться, Василь Григорыч... Дьяк Посольского приказа я – и только. Однако уволь... толмачить не стану.

– Знаем мы вас, посольских дьяков!.. Вон Сафронов Петька умнее себя никого не знал, а што толмачил? – Гришка Жаден говорит: врал он все, говорил не то, што слышал... Обманывал. За то и в темнице сидит. А кого уж более-то балует государь, как не вас?

– Не Гришка Жаден, а Генрих Штаден! – усмехнулся Алехин.

Грязной недолюбливал дьяков Посольского приказа. Они слишком много времени отнимают у государя. Зазнаются. Постоянно с иноземцами, а многие из них и за рубежами побывали, в иных государствах, много видели, много слышали. Не чета дьякам Разрядного, Поместного или других государевых приказов... Хвальбишки!

– Ну-ка, Миша, спроси – есть у него жена? – сказал Кусков. – Ладно. Не спесивься.

Алехин покачал головою и с усмешкой задал этот вопрос Керстену Роде. Тот, мечтательно закатив глаза, торжественно произнес:

– Я люблю рвать розы, когда они цветут, а жена – увь! – растение, которое цветет только один раз.

– Батюшки! – весело воскликнул Грязной. – Он и впрямь занятный. Ивану Васильевичу будет чем позабавиться. Остер на язык... Слышите? Жена цветет один раз. Ха, ха, ха!..

Василий Грязной в припадке пьяного веселья принялся еще настойчивее спаивать своих гостей.

Да и кто же из московских добрых хозяев отпустит из своего дома гостя, не напоив его до беспамятства? А если такой сквалыга и объявится – вечный позор ему и посрамление.

Грязной особенно усердно ублажал толмача:

– Друг за друга, Бог за всех, Миша... Понял ли? – говорил он, неустанно наполняя его чарку. – Дурень ты, Мишка! – вдруг хлопнул он по спине Алехина, обтиравшего в задумчивости усы и бороду. – Не иди против нас. Помни: рука руку моет, и обе белы бывают.

Толмач, поморщившись, хмуро подставил свою чарку.

– Э-эх, Миша!.. – наполнив ее, проговорил Грязной. – Будь я царь, – боярином бы тебя сделал... Знаю: верный ты царю слуга.

– Не хочу быть боярином. Не обижай, – промычал Алехин. – Боюсь.

– Ловок, Мишка! Мою мысль слопал. Да и сам бы я от того чину упрятался... Вон Малюта... «Выше дворянского звания, – говорит, – ничего не знаю». Не надо! Што толку в том, коли залетит ворона в царские хоромы... Все одно ворона! Ха, ха, ха!.. – Грязной расхохотался. – Полету много, а почету нет! Мы с Малютой не гонимся за боярским званием... Не надо нам его. Дело нам надобно, государево дело!.. Пожалуй, дураку дай честь – он не знает, где и сесть. Вон Прокофьев потянулся за боярами, да и расстался с амбарами...

Очнувшись, Алехин вдруг вскочил:

– Апостол Петр... изрек...

– Ну, ну, говори!.. – крикнул Грязной.

Собравшись с духом, дьяк громко провозгласил:

– Гордым Бог про... ти... вится... А смиренным дает бла-а...дать!..

Степенно опустился на скамью, мотая головой.

– Оставайся, Миша, ночевать... Ты уж, кажись, того...

– Не!.. Ночь пропью... всю ночь... а не ночью... Боюсь! Тебя боюсь!

Способные еще понимать что-нибудь рассмеялись. Толмач сидел бука букой, ни на кого не глядя, бурча себе под нос.

Грязной шепнул Кускову на ухо:

– Сукин сын! Притворяется. Хитрый боров. Что-то есть у него на уме. Скрывается. Все они, посольские, такие... Говорят не то, что думают. Даже короли иноземные то приметили. Хитрее наших посольских дьяков токмо черти.

Грязной разошелся вовсю:

– Пейте, братчики! Гулять – не устать, а дней у Бога впереди много. Обождите, не то увидите.

Феоктиста Ивановна побежала в девичью. Замахала руками на девушек, зашикала на них, велела поскорее одеться и спрятаться на чердаке.

А какие дни! Василий знает, он уверен, что в государстве наступают иные времена... Ему, Василию Грязному, верному царскому слуге, дует попутный ветер... Для многих этот бродяга, которого угощает он в своем доме наравне с друзьями, – разбойник заморский, а для него, Грязного, нужный государю человек. Надо знать и понимать, что к чему. Бояре, выпестовавшие царя на своих руках, седобородые мудрецы, хуже знают царя, чем он, дворянин Грязной, – они не могут понять Ивана Васильевича.

Вскоре кое-кто уже задремал за столом... Иные, отдуваясь, морщась, мотая головой, пытались подняться со скамьи, но, увы, напрасно! Некоторые и вовсе сползли со скамьи под стол. Дьяк Алехин поднялся, помолился на иконы, распрощался с хозяевами и, пошатываясь, побрел домой.

Крепче всех на вино оказались Грязной и датчанин. Они молча продолжали пить.

Утром, проводив гостей из дому, Феоктиста Ивановна приказала девушкам выскоблить ножами пол, вымыть его, особенно в том месте, где сидел иноземец. Святою водою побрызгала она там.

Даже образа, стоявшие на полках в массивных киотах, обложенные серебром с гривнами, с жемчугом, с камением, она с благоговеньем обтерла смоченным во святой воде полотенцем.

Чужеземец без бороды – «чур-чур, проклятая поганая латынская харя!» В Москве все с бородами, и у многих она долгая, густая, а у того нехристя голый подбородок, словно у бесов, что жгут грешников на картине Страшного суда. Феоктиста Ивановна, как и все московские люди, верила в бесов, постоянно вела с ними борьбу.

Всякое дело Феоктиста Ивановна выполняла с молитвою, в робком молчании. Постоянно ходила под опасением сказать лишнее слово. Роптание, смех, «песни бесовские» она старалась изгнать из дома. Супруг ее, Василий Григорьевич, к ее великому ужасу, то и дело нарушал благочиние, особенно во хмелю. Соседи диву давались, сколь разные люди были Грязной и его супруга.

В доме ее отца, старого стрелецкого сотника, царила монастырская тишина, изредка можно было услышать слово, да и то произносимое осторожно, без смеха, без улыбок.

«Ангелы, – внушал ей отец, – помогают только тогда во всем людям, когда дом тихий, благочестивый, и бесы в ту пору бегут от человека. Тишина давит их. Пустошные же разговоры веселят бесов».

Но хозяин дома, муж ее, Василий Грязной, постоянно доставляет радость нечестивому бесу. Так и жди, что ангелы отступятся от них, и тогда будет горе обоим! Как она будет жить дальше со своим мужем? – Об этом постоянно со страхом думала Феоктиста.

## II

По дороге от Смоленска к Москве и от Москвы к Смоленску, из конца в конец, скачут на взмысленных конях гонцы. Ни морозы, ни выюги – ничто не останавливает лихих наездников. Исполняют государев приказ.

Смоленский воевода, Михаил Яковлевич Морозов, вдруг получил от короля Сигизмунда Августа «память»: в Москву отбывает великомочное королевское посольство. Король желает мира. Это ли не событие?

В Посольской избе день и ночь скрипят гусиные перья. Духота. Народищу толпится разного уйма. Пишутся указы: «опасные» грамоты рассылаются в попутные города и села воеводам, старостам, приставам, стрелецким начальникам.

Чудеса! Король, сам напавший на Русь, поклявшийся изгнать московское войско из ливонских городов, вдруг заговорил о мире. Не он ли бесчестно липнет, как смола, к московским границам? Не он ли всем королям уши прокричал о «московской опасности?»

Кто же откажется от мира? Добро пожаловать!

Царь Иван Васильевич радостно встретил это известие.

В храме Архангела Михаила, что на Кремлевской площади, среди гробниц царственных предков, вознес он усердную молитву. Видит Бог: желал ли он войны с королем Сигизмундом! У польско-литовского короля есть изрядное пристанище на Балтийском море – Данциг. Мало ему этого. Он яростно восстает против выхода к морю Московской державы!

Английские купцы докладывали на днях Ивану Васильевичу, – Сигизмунд слишком слушает советов аламанского императора<sup>3</sup> Максимилиана. Немцы сами не сильны вступить в единоборство с Москвою, подбивают других на войну с Россией.

Служил молебен у святого Михаила, обрадованный вестью о мирных переговорах, недужный митрополит Макарий. Через силу поднялся владыко со своего ложа, чтобы идти в церковь. Старенький, сгорбленный, прошел он в храм среди народа, поддерживаемый двумя чернецами. Молебен служил взволнованно, с жаром воздевая руки перед престолом.

По окончании молебна благословил царя, пожелав ему утвердиться не только на суше, но и на морях.

– Западное море и «дюк»<sup>4</sup> Иван не дают спать нашим соседям! – тихо молвил ему государь. – Настала пора учинить дружбу с моим братом Жигимондом.

Митрополит, покосившись в сторону бояр, тихо сказал:

– Буде имя Господне благословенно отныне и вовеки!

Государь знает, что у митрополита нет разномыслия с царем. Макарий благословил его и на Ливонскую войну, и на «нарвское плавание»...

Царь смиренно облобызал сначала крест в дрожащей руке митрополита, а затем и самого первосвященника.

После службы велено было созвать приставов и дьяков в рабочую палату царя.

Царь сидит за рабочим столом, склонившись над картой, привезенной ему дьяками из Кракова, с обозначением городов и сел смоленского тракта на Литву. Искусно сшитый, в талию, темно-коричневый кафтан красиво облекает стан царя. Волосы, тщательно расчесанные на пробор, густо смазаны розовым маслом. В переднем углу, перед иконами, в золотой чаше медленно тлеют купленные в Греции благовония. Приятный, бодрящий дымок сгустился под сводчатым, расписанным зеленью и киноварью, потолком. На массивной золотой цепи шестисвеч-

---

<sup>3</sup> Германский (аламанский) император, именовавшийся в те времена «римским кесарем».

<sup>4</sup> Князь.

ное паникадило. Персидские ковры на скамьях и на полу, чистот и тепло сообщают особый уют царевой горнице. Лицо царя приветливое, добродушное.

– Порадуемся же дружбе брата моего, короля Жигимонда. Встретим желание его жить с нами в мире с подобающим русскому царю достоинством; пускай знают: держу я твердо в одной руке скипетр, в другой – меч. Приготовимся требовать и отвергать, как то укажет нам любовь к родной земле.

Иван Васильевич обвел холодным взглядом толпу своих слуг. Висковатый громко докладывал: «А идут к Москве польских людей при послах триста шестьдесят человек, а лошадей при них – пятьсот тридцать две».

Царь удивленно вздернул бровями, покачал головой.

– Ты, Григорий, не медля скачи с приставами в Смоленск к Морозову... – перебив Висковатого, сказал он Григорию Годунову, курчавому, румяному юноше, которому очень шла к лицу серебристая с синим отливом кольчуга. – Скажи, чтобы вели пристава посольскую орду неспешно. В Дорогобуже велели бы им передневать, а в Вязьме бы простоять до указа. Надобно нам тем временем здесь приготовиться. Много их. Однако не забывайте – король учинил немалую обиду мне, напав на нас бесчестно. Он же дал приют и моим холопам-изменникам. Следите, чтоб наши люди не снизились до раболепства и все не услуживали бы польским послам.

К столу приблизились другие любимцы царя: Григорий Ростопчин и Дружина Кречетников. Оба тоже в кольчугах, рослые brave молодцы. На лицах написано: «За тебя, государь в огонь и в воду!» Царь выбрал для встречи королевских послов самых расторопных и красивых своих приставов.

Ростопчину и Кречетникову был дан наказ провожать послов от Смоленска к Дорогомилову. Иван Васильевич научил их, как и о чем вести тайные разговоры с польскими людьми.

– Не докучая расспросами, вызнайте, ведомо ли тем людям, кои при послах, в какой мере ныне король с турецким султаном, и как с крымским царем, и как с угорским, и с дацким, свейским, и с чешским королями, и волошским, и о том обо всем говорите, как я вам приказываю. А если, буде, посольские люди что-либо спросят про Крым: в каких мерах царь и великий князь с крымским царем, отвечайте: царь и великий князь с крымским царем в дружбе и посла своего Афанасия Нагого к нему отправил. Спросят про Казань – молвите: в Казани ныне государь поставил церкви и посадил архиепископа, да и по казанским уездам государь церкви многие поставил, и многие русские люди живут в городе и по селам. А когда государь приказывает казанским людям куда по своему делу ходить, то они на государеву службу охотно, до ста тысяч ходят, и этою зимой под Полоцком многие казанские люди воевали. А если спросят про Астрахань, говорите: в Астрахани-де живут государевы воеводы; церкви многие там поставлены, и русских людей немало в Астрахани; на цареву службу астраханские люди тоже ходят. А нечто спросят про ногаев – отвечайте: ногайские мурзы государю послушны.

Царь предупреждал, чтобы пристава были особенно осторожны в разговорах с королевскими людьми о шведских и турецких делах.

– Коли спросят про свейского короля, – поучал царь, – молвите: у государя нашего свейские послы были, а о чем их челобитье – нам неведомо, малые мы люди. Спросят про турецкого посланника, с чем он пришел, отвечай, Григорий: «Яз у государя человек не близкий, и мне то почему ведать?!» И скажи им: «У государя нигде недругов нет!»

Иван Васильевич объявил приставам и посольским дьякам, чтобы литовские послы и их люди дорогою ни с кем посторонним ничего не говорили и к ним бы тоже никто не подходил. Если же будет замечено, что к ним кто-то хочет подойти и завести с ними разговор, тех людей хватать для сыска, сдавать Малюте Скуратову.

Корм и иное довольствие послам, их людям и коням приказано давать щедро, без скупости.

В пояс кланялись пристава и дьяки, слушая слова государя.

Иван Васильевич подозвал к себе пристава Григория Нагого, наказал ему торжественно встретить послов при въезде их в Дорогомилово.

Царь учил приставов и дьяков, как им держаться с послами при встречах и повседневно, что говорить, как спрашивать о здоровье короля, о здоровье самих послов, в какие подворья поместить польских гостей, кого с кем, какую охрану поставить. И еще и еще раз Иван Васильевич повторил, чтоб «с пословыми людьми на улицах и на подворьях не говорил никто: следить за тем накрепко», а потому пословым людям поить коней своих из колодцев около подворьев, а на реку коней не водить. Сказать им, что «колодезная вода лучше речной».

И вообще чтобы посольские люди от своих подворий не удалялись, среди многолюдства не шатались бы.

На дорогах, по которым проезжали послы, было, однако, не так уж безлюдно, как думали пристава и стрельцы.

Правда, тихо, недвижно стояли высокие, в белоснежных космах, прямехонькие сосны, ели и кустарники, украшенные жемчугом льдинок. В голову не могло никому прийти, что за кустарниками и деревьями прячутся люди: выжидают удобного случая приблизиться к польско-литовским послам, обменяться с ними хотя бы несколькими словами, узнать, как там, в Литве, живется отъехавшим московским приказным, – честит ли их король, жалует ли их казною и землями и нет ли тайных пересылок из Польши от тех служилых людей к боярам и дворянам московским.

На дорогу, около Можайска, выскочили из леса четверо, подкрались к важному, усатому заиндевелому пану, ехавшему в возке, прицепились с расспросами, а тот не понял, в чем дело, да и навел на них пистолет. Думал: разбойники!

А какие же это разбойники?! Обыкновенные дьяки: двое Колыметов, Кайсаров да Нефедов. Любопытство мучило, покоя людям не давало: как, мол, там живут перебежчики-то в Польше?! Нет ли каких пересылок?

Слух о приезде в Москву польско-литовского посольства нарушил душевный покой не у одних этих дьяков, но и у князей и бояр и у всякого иного звания служилых людей. Кто повыше, познатнее, того мучила мысль: выдаст король или нет отъехавших от царя в Литву московских князей и бояр? Спаси Бог, если выдаст! Тогда Ивану Васильевичу станет известно многое, чего он и знать не должен. А коли узнает, не сносить тогда головы кое-кому из ближних бояр. Эти мысли нагоняли уныние, заставляли задумываться о судьбе семей, делать тайные распоряжения домашним на случай, «если»... Кто помельче, раскидывал умом, какие выгоды могут быть от измены. Что может она сулить малому чину? Колыметы, Кайсаров, Нефедов и другие, им подобные, дьяческого и подьяческого чина, из кожи лезли, горя желанием узнать обо всем этом поподробнее... Им очень хотелось, чтобы между царем и польским королем никакого мира не было, но чтобы раздор между Москвою и Польшею продолжался. Они рассуждали: «Пускай Польша и Литва побьют царские войска. Пускай они отнимут у царя Ливонию. Сигизмунд Август не признает его царем, и не надо! Бог с ним! Пускай остается „великим князем“. Кому нужен его царский титул? Честолюбец! Хорошо, что хоть нашлась сила, которая может унижить его. В Московском государстве ползают перед ним на коленях, превозносят его до небес, а в Литве смеются над ним. Так и надо! Хоть бы краем уха послушать, как его там чествуют! Кажись, все бы отдал за это».

Злые, полные ненависти к царю, мысли и чувства одолевали этих людей. Особенно тех, кто возвысился при Сильвестре и Адашеве и унижился после них и кого тайно и явно поддерживал двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич Старицкий. Недобрые мысли роились и в головах людей, обиженных службою, местническими счетами.

Так и не удалось в лесу Колыметам, Кайсарову и Нефедову пристроиться к посольским людям и поговорить с ними. Пристава бдительно выполняли царский наказ. До самой Москвы

ползали дьяки по сугробам, хоронились за кустарниками, четырех коней попусту уходили в гоньбе за послами в объезд.

А в Доромилове уже поздно!..

Нагой да еще четверо царских приставов, а с ними Василий и Григорий Грязные, обскакали все кругом, вплотную оцепили стрелецкою стражею посольских обоз. Заяц – и тот не проскочил бы.

Неудачливые четыре дьяка видели, как послы выходили из саней и слышали речь к ним Нагого:

– Божией милостью, великий государь, царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел вам поклониться и велел вас о здоровье спросить: здоровы ли дорогою ехали? Великий государь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел нам у вас быть и подворье указать!

Каждое слово было на счету у Нагого. Произнес эту речь, а дальше будто воды в рот набрал. Молча, деловито повел послов на подворья, не ожидая ответа их на свое приветствие.

– Погожий ясный день шестого декабря обрадовал пристава Григория Нагого. Москва показалась ему краше яблочка наливного. Пускай полюбуются польские гости русской столицей!

Красное лучистое солнце покрыло густым румянцем Кремль; просветлели самые глухие проулки между узорчатыми хоромами дворцов и храмами, оживляя глянцевые следы полозьев на крепком белоснежном насте. Купола и кресты церквей горели алым цветом, словно приветствуя наступление высокочтенного дня переговоров о мире. Война утомила народ. Все радовались приезду польских послов.

Нагой с приставом Олферьевым готовили им пышную встречу.

Оба они удостоились великой чести находиться при послых и обо всем докладывать лично самому государю. Они всегда думали, что для верного царского слуги добрая слава дороже богатства, ибо хорошую, заслуженную славу ничто не поколеблет. Несмотря на морозный день, у обоих приставов исподние рубахи были мокры от пота – хлопот не оберешься, а главное – глаза да глаза! Лиходеи не спят, чуть зазевался – что-нибудь и предадут литовским людям, а тех ведь вон сколько! Говорили – триста шестьдесят, а прибыло триста девяносто четыре, да, кроме того, немалое число купцов и мещан; другой и гроша не стоит, а глядит рублем. И за всеми ухаживай, всех оберегай, всех ублажай. Царев приказ. Чужого-де не хай, своего не хвали. Кто больше царя-то должен ненавидеть Сигизмунда? Но все знают, как скрытен, непроницаем царь. Государь ни одним словом не выдаст себя, даже перед своими людьми. Желает доброго мира с Польшею и Литвою, вот и все!

Пристав держат ухо востро, ухаживая за польскими людьми, следя за каждым своим словом, ибо «от искры пожар бывает». Да не только польских, но и своих приказных людей и кремлевских обывателей не лишне было остерегаться. Лезут, болтуны, с расспросами: кто и што? А какое им дело? Ради чего спрос? Царский слуга Григорий Лукьяныч Малюта Скуратов велел записывать выпрашивателей, беречься их болтливости – дело государево! Иной боярин либо дьяк смирен-смирен, а палец в рот не клади. Так уж, видно, Богом положено: дружи, да камень за пазухой держи, чтобы впросак не попасть, особенно после того, как неверные царские слуги утекать за рубеж стали.

Пристав Нагой попросил Василия Грязного пошире расчистить от народа площадь перед дворцом и церковью Михаила Архангела. Конные и пешие стрельцы в новеньких красных теплых охабнях с секирами в руках начали теснить кремлевских обывателей, не обращая внимания на их ропот и ругань, сам Грязной так и напирал конем на людей.

Но вот наступила тишина.

Послышался отдаленный топот множества конских копыт. То послы со своею свитою двинулись к царскому дворцу.

Впереди всех на громадных, стройных аргамаках, в золотой сбруе, гарцевали одетые в нарядные теплые кафтаны, с позументом и меховой опушкой, царские пристава Нагой и Олферьев, грозным взглядом окидывая толпу кремлевских зевак.

За ними в один ряд стройно следовали королевские послы: Юрий Хоткевич, Григорий Волович и Михаил Гарабурда. У всех одинаковые белые кони, обряженные в богатую сбрую. Красиво развевались на конских головах султаны из разноцветных перьев.

Хоткевич, ловко сидевший в седле осанистый пан, с улыбкой кланялся направо и налево толпе жителей. Все три посла были одеты в серые венгерки с черными поперечными шнурами на груди. Через одно плечо наискось ниспадали опушенные белым мехом накидки из малинового бархата. Большие серебряные шпоры блестели на каблуках. Оружия при послах не было.

Вслед за послами, немного поодаль, нестройною толпою двигались верхами посольские люди всех возрастов и званий, одетые пестро, богато...

Иван Васильевич, окруженный ближними боярами, дожидался послов на троне в Брусяной избе<sup>5</sup>.

Навстречу послам вышли ясельничий<sup>6</sup> Петр Зайцев, строгий, богатырского сложения седовласый старец; глава Посольского приказа и «печатник»<sup>7</sup>, грузный волосатый толстяк Иван Михайлович Висковатый да дьяк Посольского приказа Яков Григорьев. В сопровождении их послы, почтительно склонив головы, вошли в Брусяную избу, а за ними последовали и королевские дворяне.

К трону подвел их обладатель самого почетного придворного звания – окольничьего – высокий, статный, Афанасий Андреевич Бутурлин.

Низко поклонились послы царю.

Юрий Хоткевич громким голосом в глубокой тишине прокричал государю поклон короля Сигизмунда Августа.

Царь неторопливо приподнялся, держа в одной руке скипетр, в другой – державу, как-то сразу вытянулся во весь свой громадный рост и замер на месте, сверкнув широко раскрытыми глазами.

– Брат мой Жигимонд Август здоров ли? – спросил он, глядя сверху вниз на послов.

Хоткевич ответил по-русски:

– Божиею милостью, мы поехали от своего государя, а он был здоров.

Иван Васильевич приветливо кивнул головой, допустив послов к своей руке. Послы подали ему королевскую грамоту. Царь тут же передал ее своему самому приближенному дьяку Андрею Васильеву.

Хоткевич, Волович и Гарабурда по очереди доложили царю то, о чем им было наказано их королем. Иван Васильевич, внимательно выслушав, спросил, все ли они сказали. Тогда Хоткевич подал царю письменный посольский доклад. Не читая, царь передал и его тому же дьяку Васильеву, стоявшему около трона.

Послов усадили на приготовленные для них места.

Один из дьяков принялся громко выкрикивать по списку имена посольских дворян, удостоенных лобызания царской руки.

Когда церемония окончилась, царь сказал:

– Юрий, Григорий, Михайла, будьте при нас, у стола!

Послы встали и низко поклонились.

Дьяк прокричал имена польско-литовских дворян, приглашенных к царскому столу.

Обед состоялся в Набережной избе, в простой обстановке.

---

<sup>5</sup> Брусяной дворец.

<sup>6</sup> Управляющий Конюшенным приказом.

<sup>7</sup> Хранитель государственной печати.

Во время трапезы царь тихо, как бы между прочим, сказал Хоткевичу:

– Лифляндская земля – извечная вотчина князей русских и ни в которых перемирных грамотах за братом нашим не писана... а Нарва – старинный русский город Ругодив... Берем свое, а не чужое.

Дьяк Висковатый в то же время нашептывал в ухо охмелевшему Гарабурде:

– Лифляндская земля – вотчина нашего государя, ибо в лето шесть тысяч пятьсот тридцать восьмое прародитель его, великий государь Юрий Владимирович<sup>8</sup>, самодержец Киевской и всея Руси и многим землям государь, ходил на тою землю ратью и пленил ее, и в свое имя град Юрьев поставил, и тою землю взял на себя, и от тех мест и до сих пор та земля русскому царству принадлежит.

Хоткевич слушал царя с растерянной улыбкой, молча.

Гарабурда тоже не противоречил Висковатому.

А поодаль от царева места гудел в ухо пану Воловичу преданнейший царю слуга Бутурлин:

– Государь будет требовать, чтобы выдал король изменников-перебежчиков... без того не может быть и перемирной грамоты... Изменники всяких стран – враги мира и дружбы между государями.

Пенилось вино. Играли гусельники. Хмелели паны и их слуги, а слово «Нарва» то тут, то там вдруг проскальзывало в хмельных речах ближних к царю бояр и воевод и звучало оно грозно, каленым острием касаясь слуха польских панов.

...Много дней совещались польско-литовские послы с московскими посольскими людьми и ни к чему не пришли. Для передачи королю Сигизмунду была вручена грамота, в которой царь требовал «не вмешиваться Польше в государевы прибалтийские дела»; далее он требовал признания польско-литовским королем за Иваном Васильевичем царского титула, затем выдачи ему перебежчиков-изменников, чтобы совершить им строгий допрос и наказать их. Царь требовал также запрещения польским пиратам нападать на торговые суда, уходившие в море из Нарвы, и иноземные корабли, шедшие в Нарву.

По окончании бесед с послами Иван Васильевич с грустью сказал своим посольским дьякам:

– Надежи немного на короля. Коль он из рук панов власть получил и умом их живет да императора немецкого слушает, какой же он есть владыка в своем государстве? Государю надлежит быть независимым... Никаким королям он верить, а тем паче унижаться перед ними не должен. Своя страна ему ближе жены и детей его...

Послухи Малюты Скуратова вызнали тайно у посольских слуг, будто Сигизмунд хитрит – на тайном совете с немецкими князьями в Вильне будто бы он поклялся положить конец «нарвскому плаванью» и пиратов он не только не сократит, а умножит.

Однако государь после отъезда послов сказал боярам:

– А все же Нарва была и будет нашей. Так предуказано нам самим Богом и завещано предками! Не в наши-то времена, так в иные, но... будет!

### III

В сводчатом овале горницы, именуемой «угловой», сумрачно.

Вокруг лампы колышется сотканное из зеленоватых нитей воздушное кружево; серебряные цепи ниспадают с потолка струйками изумрудной капли.

Минута сурового молчанья, того молчанья, когда мысли значительнее, крупнее слов.

---

<sup>8</sup> Князь Ярославич Владимиров (Ярослав Мудрый) имел христианское имя Юрий (Георгий).

Два мужественных, неподвижных лица освещены отблеском лампы. То царь Иван Васильевич и только что прибывший из Пскова князь Андрей Михайлович Курбский.

– Уставать я стал, князь, уставать! – тихо говорил царь. – Литовские послы утомили. Много дней сходились мы, но, когда правды нет в сердце, слова пусты... Король лукавит. Пошто держит он у себя моих холопов, изменников? На что ему Тимоха Тетерин, Телятьев, Павшин? Чего ради держит он подлых иуд?! Выходит, они ему друзья, а царь нет?! Стало быть, на языке у него мир, а в сердце война. Требовал я выдачи изменников не ради казни, но чтоб испытать дружбу Жигимонда... Кабы он был мне друг и брат, не променял бы он меня на моих неверных слуг! Ныне мне открылось его коварство... И я знаю, куда наши кони ступят.

Курбский недоверчиво покачал головою.

– Так ли? Молва идет, что-де Жигимонд томит в железах, в подземелье, тех твоих неверных слуг и обиды им чинит великие, пытки лютые...

– От кого слыхал ты? – тихо спросил, разглядывая перстень на своем пальце, Иван Васильевич.

– Странник один, чернец, побывал у нас во Пскове.

– Схватить бы надобно такого!.. Лжет он!.. Взяли вы его?

– Архипастыри псковские его приютили. В Новгород будто бы ушел...

Иван Васильевич промолчал.

– Я пытался его схватить, да святые отца не дали... – немного помолчав, как бы оправдываясь, произнес Курбский.

– Святые отцы живут небесами... А воевода повинен жить землею. Митрополит Даниил писал о жизни: «Вся – паутина, вся дым, и трава, и цвет травный, и сень, и сон...» Бывают дни, князь, поддаюсь и я той скорби... Поп Сильвестр внушал мне: «Житие-де сие прелестное, яко сон, мимо грядет...» Но царю ли быть слабым? Нет, князь, жизнь – не сон! Проспать жизнь медведю и тому не дано... А царю и его воеводам – и вовсе... «Яко сон», «Яко сон»... Пустошные слова!..

Царь с усмешкой махнул рукой.

– Великий государь! Сильвестру недаром жизнь чудилась сном. Незнатный, малый человек, он стал первым вельможею у царя. Это ли не сон?! Столь чудесная перемена, государь, казалась ему сном. Не будем судить его! Не будем поминать ни Сильвестра, ни Адашева. Скажу нелицеприятно: твоя государева мудрость, твоя царская прозорливость не без пользы приблизили к тебе обоих; честно послужили они тебе, государь, в иные времена... Боюсь греха осуждать их в угождение тебе, как то делают льстецы!

– Ты говоришь: не будем поминать... А я говорю: помянем усопшего Алексея... Бог ему судья! – громко, с сердцем, произнес Иван Васильевич и быстро поднялся с своего места, а за ним и Курбский. Царь прочитал вслух молитву. Оба усердно помолились об умершем в дерптской тюрьме бывшем царском советнике Алексее Адашеве.

– Глупый да малый могут думать, будто хотел я зла Алексею! Я не хотел того, но иного исхода Господь не указал мне.

Царь нахмурился, молча сел в кресло.

Курбский тоже сел в кресло, хмурый, задумчивый.

– Ну, что же ты приуныл, Андрей Михайлович?

– Дозволь, государь, молвить слово.

– Говори.

– У каждого правителя, у военачальника и даже у холопа – свои пути в жизни. Не суждено, батюшка Иван Васильевич, всем людям быть по едину образу. Можно ли за то их осуждать и казнить? Звезды блестящие, небесные светила, и те разным движением обращаются, и не сам ли творец мира определил им так?

Внимательно вслушивался царь в каждое слово князя Курбского. После недолгой разлуки с князем теперь царю были не только не под душе суждения его, Курбского, но и показались они ему какими-то устарелыми, нудными. Да разве он – царь всея Руси – судит и казнит своих слуг за то, что они иначе мыслят? Курбский лучше кого-либо должен знать, что нет. Нет! Не за это царь положил опалу и на Сильвестра и на Адашева. Князь Курбский, опытный воевода, знает, что ливонский город Ринген был взят немцами на глазах у стоявших сложа руки воевод-князей Михаила Репнина и Дмитрия Курлятева. Защитники города были истреблены немцами на глазах у царских воевод. Как это назвать?! Курбский понимал, что повинны в падении Рингена Репнин и Курлятев, а когда он, царь, положил на них опалу, тот же Курбский заступился за них. Царь внял его голосу и простил неверных воевод. Так было! И после того князь учит царя, что не надо-де казнить инакомыслящих?

Курбский умеет говорить умно и красиво. Царь это знает. Он речист, любит, чтобы его слушали и восхваляли. Друзья, товарищи славословят его за красноречие. Но можно ли тешиться царю красноречием своего слуги, когда говорят пушки и звенят мечи! Сам он, царь, любит говорить, любит и слушать, но не того ждет от воевод государь ныне, когда царству угрожают четыре державы. Вот и теперь: «разные пути небесных блещущих светил...» Что это? У московского царя один путь – путь к морю! И все его воеводы, и холопы, и весь народ должны идти этим же путем.

– Звезды блестящие не все блестят. Они радуют взор не токмо царя, но и черносотника-бедняка, и злосчастного бродяги, и всякой твари... – закончил свою речь Курбский.

– Знаю, князь, словоохотлив ты, однако не всех радуют блестящие звезды, не радуют они ночного татя. Вору небесные светила не нужны... И скипетродержатели не по сердцу худым людям. Не всем во здравие моя власть... Ворам и предателям она в тягость, а царству на пользу. Не так ли? – стряхнув сбившиеся на лоб волосы, тихо рассмеялся царь.

– Истинно, государь-батюшка Иван Васильевич!.. Вору света боятся... а царство твое единою властью крепко!

– Изменники тоже света боятся... Не так ли?

– Да. Изменники тоже... – добавил Курбский. – Нет худшего греха, нежели измена своему государю и своей отчизне!

– Коли так, слушай, князь! Лифляндия – моя, и скорее государь ваш в гроб сойдет, нежели отдаст литовскому либо швейцкому королю ту приморскую землю. Ставлю я тебя воеводою над нашим прадедовским городом, славным Юрьевом. Он – сердце земель лифляндских. Токмо я да ты достойны быть воеводами в том граде. Кому доверю его, кроме тебя? Одному тебе, князь. Из Юрьева мы будем грозить всем врагам на западе. Ты видишь, как верю я тебе, ради твоей прямоты.

Курбский приподнялся и низко поклонился.

– Спасибо, великий государь! Мудростью увиты все дела твои. Крест целую тебе, отец наш, клянусь до гроба служить тебе верою и правдой!

Иван Васильевич в раздумье тихо сказал:

– Эх, князь, как мы с тобой славно Казань воевали! Помню тебя... бесстрашного. Спасибо! Да наградит твое потомство Господь вечною славою за твою верность царю и за службу. С такими воеводами, как ты, Бог поможет нам одолеть врагов. Царство без преданных царю слуг, как чаша без вина. Никогда не гневался я на твои смелые речи и никогда я не возносился гордынею, будто я один, без добрых слуг, обойдусь.

Указав Курбскому на кресло, Иван Васильевич продолжал:

– Дело у меня великое задумано. Сам хочу вести войско в Ливонию... летом... Голову сложу на полях брани, но моря не уступлю... Далекie предки наши ходили по морям и вплоть до Царьграда... Издревле наш народ любил мореходство. Вспомни Олеговы, Святославы

ладьи! Славно справились князья с морскими пустынями. Так нам ли отстать от тех наших предков?

Царь поведал Курбскому о своих переговорах с послами короля Сигизмунда и о тайных своих замыслах: как и куда поведет он свои полки, и о том, что задумано им на севере Эстляндии, близ Ревеля, и на западе, где уже хозяйничают гетманы литовские.

Сильный удар Иван Васильевич готовил нанести Польше со стороны Смоленска, чтобы отвлечь королевские войска от Риги. Сам же намеревался внезапно двинуться против Риги. Он назвал имена тех князей, кому он доверяет, кто будет ему помощниками в походе, и тех, в ком сомневается. Упомянул воевод, которые будут старшими в русском войске, и тех, коих он намерен отозвать в Москву. Рассказал и о привозе в Россию нужных военных изделий через Студеное море, о пристани, сооруженной в Архангельске, и о том, что сделано на Пушечном дворе.

– Ледяное море верно служит нам... Хвала благодати Всевышнего! В студеных просторах мы – хозяева! Оттуда мы возьмем корабленников и на Западное море.

Царь порывисто поднялся с своего места.

Он говорил о том, что польские пираты мешают нарвскому плаванию, но что он, царь, на разбойников тоже пустит разбойника... Нашелся такой, которому ведомы все повадки иноземных пиратов. В Европе морской разбой в почете. Особенно в Англии, Испании и Голландии. Короли не гнушаются услугами пиратов.

Курбский, почтительно склонившись, с затаенным дыханием слушал его то громкий, басистый, то тихий, усмешливый голос, а порою и злобный шепот, если речь шла о неприятельских странах. Лицо царя преображалось; могучим размахом руки указывал он в сторону окон, выходящих на запад, когда начинал говорить о предстоящих боях, о славных подвигах, к которым он готовил свое войско.

Царь больше всего был уверен в своем пушечном наряде. Курбскому он приказал побывать на потешных полях у пушкарей. Пускай полюбуется, какие железные чудища отлили московские, ярославские и устюженские литцы-пушкарники. Царь велел Курбскому все это держать в тайне.

– Кому не ведомо, батюшка Иван Васильевич, колико печешься ты, государь, о наряде, да и лучшего, что есть в пушках, добиваешься... Добро, государь! Многая польза от того убийственного стреляния учинилась. Великую славу ты обрел, государь, огневою осадью Казани, Нарвы и Дерпта!

Князь хорошо знал, чем угодить царю. Ничто так не радовало Ивана Васильевича, как хвалебные слова о пушечном деле. Вот и теперь... Лицо его сразу повеселело. Он порывисто поднялся с кресла и, потирая руки, принялся быстро ходить по палате, большой, взволнованный.

– Передай там, в Юрьеве, князю Прозоровскому Михаилу. Осмотрел бы он весь свой крепостной наряд, прочистил бы его, ладно ли он к боям готов! Зелья да ядер посылаю вам до трехсот саней. Берегите пуще глаза! От вражеского хищения хороните! Есть изменники и среди моих холопов... Страшитесь их!

Курбский принялся горячо расхваливать своего помощника и зятя, князя Прозоровского. Он назвал его храбрым, преданнейшим царю воеводою.

– Найдется ли, государь, у тебя еще другой такой воевода, сердце коего горело бы столь буйной ненавистью к немцам, как у того князя!

– Люб он мне, Прозоровский. Добро, князь! Брать с него крестоцеловальной записи в неотезде, как с других, не стану. Передай ему поклон царя. Ты и он – да будете примером чести и верности престолу в столь трудное для нас время. Станем, князь, перед иконами и помолимся о благополучии нашего царства. Тревожные дни наступают!

Опустились на колени – царь и князь Курбский.

Иван Васильевич громко сказал:

– Тебе, убо, сотворим молитву, Господи, молитву мою, понеже Авраам не увиде нас, Исаак не разуме нас, а Израиль не позна нас. Но ты, Господи, Отец наш еси, к тебе прибегаем и милости просим – мир даждь нам! Просвение лицо твое на нас и помилуй нас! Отторги длань врагов от пределов царствия сего! Спаси нас!

Курбский усердно бил лбом о ковер государевой палаты.

Оба высокие, статные, царь и князь Курбский, поднявшись, крепко обнялись и облобызались.

– Андрей! – ласково произнес царь, провожая князя из палаты. – Опять приказываю: держи в тайне мои слова против Жигимонда. Не открывай никому. Даже и князю Прозоровскому. На тайне государево дело могучо!

– Клянусь, государь! Памятью предков своих клянусь тебе в верности!

– Человеку болтливому, – продолжал Иван Васильевич, – молчание есть тягостнейшая скорбь. «Наложи дверь и замки на уста свои, – писал Иисус Сирах, – растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, – пускай взвешивают твое каждое слово!»

– Истинно, батюшка государь! Птица поет – сама себя выдает. Так говорил мой в Бозе почивший родитель, так думаю и я. Могу ли я поступать во вред своему государю?

– Ну, храни тебя Бог!

Иван Васильевич некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь к ровным, твердым, постепенно затихающим шагам князя. Потом помолился и отправился на половину царицы Марии Темрюковны.

Лунный свет пробивался сквозь слюдяные окна длинного темного коридора, бледной, воздушной кисеей ложась на лики апостолов «Тайной вечери», коей украшена была высокая сводчатая стена.

Царь остановился около самого большого окна, оглянулся на стену: «Где Иуда?! Вот он... тынется ко Христу...»

Порывисто отвернулся Иван Васильевич и стал смотреть в окно.

На дворе светло. Полнолуние. Пирамидальные шатры над крыльцами и лестницами и плоские крыши внутри дворцовых галерей и переходов – все освещено.

Три года как скончалась блаженной памяти царица Анастасия Романовна, но каждый раз, когда царь ночью проходит этим коридором, она вновь перед ним, словно живая. Вот и теперь... Ах, лучше не думать!

Отчетливо видны раздутые в боках, похожие на кувшины колонки, на которых покоятся золоченые шатры крылец. Около больших бревенчатых кладовых, среди сугробов, по протоптанной дорожке пустынного двора неторопливо шагают взад и вперед неуклюжие в своих медвежьих тулупах караульные стрельцы.

«Анастасия в ту пору посылала им по чарке вина... – вдруг вспомнил царь Иван. – Жалела!»

Опять?!

Нет! Не надо думать! «Курбский сказал: звезды блестящие, светила небесные – и те разным движением обращаются. Зачем он это сказал? Какие-то свои мысли бродят у него в голове? От былой ясности и следа не осталось. Мутные мысли!»

Иван Васильевич пригнулся, стал вглядываться в небесные знаки, как бы проверяя слова Курбского.

Итальянец-астролог болтал, будто в небе есть овцы, и львы, и медведица... Анастасия не верила ему, смеялась!..

Опять «она»! Опять!.. Вот она стоит в белом, смотрит на него, своего супруга... Она!.. Она!..

Царь схватился за голову: «Господи! Душно!» Прислонился к косяку окна: «Уйди! Не мучай!..» Нет! Нет! Это не она – это ангел в белом одеянии... на стене... у входа в палату... Но глаза? Это ее глаза!

Дрожащими губами пытается царь шептать молитву: «Упокой душу...»

Анастасия! Она приходит к нему по ночам, не хочет расстаться с ним навсегда, она ходит за ним повсюду, она – в звездах, в снегах, в лазури небес, в церковном песнопении, в иконах, в книгах... А вон тот шатер, под которым, скрываясь от солнца, она сыпала на крыльцо голубям зерна. Разве не она указала розмыслам и богомазам, как украсить те шатры?

Курбский? Да. Она не любила Курбского. Почему же она не верила ему? «Анастасия! Что ты видишь, что чувствуешь ты в нем своим сердцем голубиным, – царица?»

Иван Васильевич выпрямился. Страшно! Даже наедине с самим собою страшно видеть царя жалким, слабым!

Прочь наваждение! Прочь! «Тайную вечерю» на стене надо закрыть занавесью.

Утром надо созвать воевод. Да, надо, надо! Сигизмунд не дал благоприятного ответа, не выдает изменников. Бог ему судья. Царское войско уже село на коней.

То, чему суждено случиться впереди, – ведомо токмо Курбскому, Висковатому, братьям царицы Михаилу и Матрюку, Челяднину, Басманову Алексею и Малюте Скуратову.

Надо торопиться снарядить новое посольство в Данию и отправить торговых людей за море. Пускай король Фредерик не вмешивается... Пообещать ему остров Эзель... Довольно с него!

Никто не должен мешать Москве! Великие обиды нанесены русскому царю Сигизмундом и немцами; обиды требуют возмездия. Бог того ждет от царя!

– Анастасия! Помолись перед престолом Творца о святой Руси!.. – шепчет царь, робко, спиной удаляясь от окна.

В царицыной опочивальне тихо. Божница прикрыта пологом. Мария позаботилась! Иван Васильевич улыбнулся...

Осторожно, на носках приблизился к ложу супруги, прислушался к ее дыханию. Царица прекрасна. Пышные черные косы, мягкие, как шелк, обвивали ее стан, будто шарфы. Тонка, подвижна, словно горная козочка. Глаза – вишенки.

Мария не похожа на русских женщин. Ей чужды покорливость, смирение, слепая подчиненность супругу. Домострой не для нее. В нежных, томных глазах ее наивная уверенность в своей красоте, избалованность, привычка к поколонию. Этого не могут, да и не хотят скрыть густые бархатные ресницы. Она требовательна и капризна; каждый вечер завешивает пологом иконы, ожидая ласк царя. Она постоянно недовольна тем, что он, Иван Васильевич, мало бывает с ней. Да, сегодня он ушел, не дослушав до конца ее упрёки. Он не в силах был возражать ей, – так властно сверкал ее взгляд, так гневно и вместе страстно звучал ее голос. Ему хотелось схватить ее, сжать в крепких, горячих объятьях... Блеск ее прекрасных глаз привел его в крайнее возбуждение... Страсть, неукротимая, бешеная, ударила в голову. Можно все забыть! И то, что ты царь, что ты муж, супруг, а не бесчестный любовник, тайно прокравшийся к чужому очагу. Смуглое, подвижное тело ее притягивало к себе... Оно создано для ласк и греха... Оно – стихия, безумие...

Но Иван Васильевич подавил охватившие его чувства и, молча выслушав жену, вышел из опочивальни. Надо было видеться с Курбским. Назначив время для встречи, царь должен быть верен своему слову. Тем не менее он чувствовал себя теперь провинившимся перед царицей.

– Прости! – прошептал он, припав губами к ее теплой, пышной груди. – Мария! Бог послал мне тебя, чтоб успокоить мою душу... Ты – дар пресветлый... небесный подарок царю... Бог видит мои страдания.

Царица открыла глаза, погладила его по голове, прошептав:

– Не говори о Боге. Ложись!.. Сокол мой... Жду тебя!

Крепко поцеловала его в щеку.

– Ты – царь? Ты мой.. Зачем ушел? Зачем обидел? Худо так! Скушно мне. Я тебя почти не вижу...

– Посольский приказ... Литва... Дьяки уезжают... – оправдываясь, ласково произнес он, зная, что царица ненавидит Курбского, а потому и не поминая его имени.

– Не надо никого!.. Прогони их всех. Убей! Ну их! Ты, ты один!.. Ты – мой! Останься!..

– Останусь! – с кроткой решимостью в голосе сказал Иван Васильевич. – Злая ты, Мария. Злая, – рассмеялся он, готовясь ко сну. – И чудная! Тебе не к лицу тяжелые мантии царицы. Кошка!.. Загрызешь меня?

– Зачем обижаешь?

– Не обижаю, государыня!.. Нет. Русский царь взял тебя в царицы, ибо достойнее не нашел украшения своему трону... Только в той солнечной стране нашлась достойная.

И в ту минуту, когда он прильнул к ее груди, вдруг в голову ударило: «Анастасия!»

Невольный вздох, вырвавшийся у него, смутил Марию.

– Государь! Вздыхаешь?!

Прошептав молитву, Иван Васильевич лег в постель.

– Нет, ты не злая! – дрожа всем телом, сказал он. – Мои враги, неверники, клеветуют на тебя... В ту ночь, завтра, ты пошлешь в чарках вино нашим сторожам, которые оберегают нас... возьмешь лукошко с зерном и станешь с крыльца кормить голубей... На паперти, в соборе, одеяй нищих лептою из своей казны... Таков наш обычай. Будь доброй!..

– Ну их всех!.. – крепко прижавшись к мужу, по-мальчишески крикнула Мария. – Не хочу их!.. одного... тебя одного хочу!.. Забудь Москву! Люби меня, одну меня!

Она обвила руками шею царя и с силою притянула его лицо к себе.

– Задушишь, – прошептал Иван Васильевич, покрывая ее лицо поцелуями.

А караульные стрельцы и не чуяли, что за ними следил сам царь...

– Гляди, штой-то там! Будто дрова развалились?.. – указал копьём в сторону дровяника один из них.

– Так то и было, – лениво зевнув, ответил другой.

– Кто же то сделал? – сердито спросил третий.

– Эх ты, дурило!.. Вот разобью тебе рыло, да и скажу, што так было... – рассердился его товарищ.

– Бude. Угомонись!

– Ну, а чего ж ты пристал? Чай, мы с тобой дров у царя не воровали...

– На нашей душе греха нет. То верно.

– Спаси Бог! Мы с тобой не бояре. Нам бегать от царя неча. Слыхал?

– Не. А што?

– Будто Сильвестра-попа из монастыря дальше угнали.

– Куды?

– Закудыкал! На Студеное море... В Соловки... Бояре, слышать, того более осерчали...

К королю бегут...

– Бедняги мы, братец, с тобой, а гони меня теперича в какое хошь царство, силом тащи – не пойду. Ни за што. Истинный Бог! Нечего мне там делать!

– То-то и оно: правда светлее солнца.

– Што и говорить! Все одно – беги не беги, а от правды никуда не денешься. Завали ее золотом, затопчи ее в грязь, – она все наружу выйдет.

– Государь наш батюшка лют стал, гневен... Исхудал...

– Адашевские, вишь, прихлебатели изводят.

– Бог их знает! Кто их там разберет! Они на царя, царь на них, тока нашему-то брату не легче.

– И што боярам надобно?

– Все царями хотят быть... Скушно!

– Видать, уж такой у них норов. А норов, как говорится, – не клетка, его не переставить. Вот и бегут. Позавчерась Антон Богданов, да Карачаров, да Марк Сарыгозин утекли в Польшу, а ныне, гляди, Верейские князья да Белозерские... Беды!

– Одначе морозит. Бывало, винца выносили... Теперь уж нет... Эх, эх! Скушно!

– Снежку бы!.. Он согревает.

– Господня воля... может, и пойдет. А што приставов-то везде понагнали, страх! Ни конному, ни пешему проходу нет... Хватают кого попало, да все не тех... Грех один!

– Тут-ко человека едва не изрубили на засеке, а он будто царский же гонец. Беда!

– Мало ль народу похватили зря да и пытке предали...

– Теперь у царя новых усердных слуг много... Вон Малюта кого хочешь порешит... Сгубит – и не узнает никто: где, и когда, и кого... Просто! Тайный человек у царя. Перелобанил уже немало вельмож.

– В таких статьяx люди напролом идут – голов не жалеют. Чья возьмет.

– А ты думаешь – чья возьмет?

Наступило молчание.

– Бог каждому путь указывает. Народа токмо жаль! Измучились люди. Война разорила.

– Дай Бог нам терпенья!.. Страшно, коль подкосимся. Страшно. Пропадет Москва. Тяжко, брат, на душе, тяжело! Народ терпит... Ждет все... чего-то ждет...

– Так уж Бог создал: у каждого звания своя мысль... И-их, Господи! Дождаться бы светлых деньков... Видать, так и умрем... Измучили мужика, уж и смерть не страшит его.

#### IV

Царский постельничий, бравый молодчик Вешняков, обнажившись по пояс, стоял утром на дворцовом крыльце и усердно растирал себе снегом грудь, шею, руки, чтобы прийти в себя после вчерашнего.

Всю ночь пировали большой пир у царя. Уйма выпито, горы всего поедено, – а теперь тяжесть в голове. Да и во всем теле противная какая-то ломота. Под утро разошлись. Еще не все и разошлись-то! Кое-кто и сдвинуться с места не смог, остался заночевать на царевом дворе.

– Эй ты, друг, где ты? – слышал за своей спиной приветливый оклик Вешняков.

Вздрыгнул. Оглянулся. Тяжело грохая сапогами, кто-то спускается вниз по лестнице.

– Ба! Малюта, чего не спишь?

– Эй, брат! Позавидуешь тебе, – рассмеялся Малюта. – Дай-ка и я. – Перекрестившись, он снял с себя кафтан и рубаху. – Гоже, гоже!

– Холодно! Зуб на зуб, Григорь Лукьяныч, не попадает... – бормотал Вешняков, напяливая на себя рубаху. – Видать, старость приходит...

– Не лукавь, парень. Будешь лукавить – черт задавит... – погрозился на него пальцем Малюта, прищурив мутные с похмелья глаза.

– Полно, Лукьяныч... Кабы я кривил душой – у царя-батюшки в слугах не был бы... Три десятка уже на свете прожил, немало...

– Оно так. Ну, ладно, иди, иди, не остынь, мотри, застудиться недолго.

Громко отдуваясь, начал растирать себя снегом бородатый, лобастый Малюта. Его волосатая грудь стала красной, могучие мускулы вздулись от напряжения. Сложения он был крепкого – невысок ростом, плотный, плечистый. Лицо скуластое, монгольское: при улыбке серые

глаза, прикрытые чуть заметными ресницами, скрывались в складках кожи; в едва заметных щелках остро чернели зрачки.

Малюта имел привычку, насторожившись, втягивать шею в плечи, подаваться лицом вперед, словно обнюхивая воздух...

На царев двор въехали дровни, окруженные всадниками, во главе которых гарцевали Василий и Григорий Грязные.

Проворным движением Малюта надел рубаху, накинул кафтан, поспешно заглянул в сани.

– Ба! Василий! Кого это тебе Господь Бог послал?

Грязной важно, сверху вниз, взглянул на Малюту, усмехнулся:

– Орел мух не ловит. Везу царю знатный подарок.

Малюта с любопытством осмотрел со всех сторон дюжего детину, старавшегося укрыть лицо в тулупе. Виден был только длинный красный нос.

– Гляди, сколь сух и нелеп.

– Не человек, а колокольня.

– Сказывай, кто?

– Ладно, узнаешь... Иноземец... Тайное дело... государево.

– Веди покудова в подклеть... Там тепло... Пушай обогреется, – произнес Малюта, с деловым видом еще раз осмотрев незнакомца, отвернулся, брезгливо плюнул: «Господи, што же это такое?»

– Не плюй, Малюта, любопытный это человек.

Неторопливо, вразвалку стал подниматься Малюта по лестнице во дворец.

Вешняков сидел в своей горнице и тянул из чаши теплое сусло.

– Милости просим! Помогай! – приветливо улыбнулся он, указывая на скамью около себя.

– Благодарствую!.. Помолюсь сначала.

Малюта помолился, сел, чинно принял из руки Вешнякова чашу с суслом.

– Приволок царю гостинец наш друг, Василий Григорьевич...

– Знаю. И царю ведомо. Дацкий мореход.

– Видать, не худо у нас, – идут к нам? Шлитте, Крузе, Таубе, Штаден... Со всех сторон, стервецы, тянутся.

– Отщепенцы. Королям своим плохо служили.

– Ой, не верю! Не верю, штоб за свой труд человек угодил в хомут. Неспроста, ой, неспроста лезут к нам!.. Своему королю плохо служили, а чужому будут служить лучше? Время не такое, штоб всем верить. Бешеное время! Все короли когти выпустили, людишек своих засылают в иные страны... Поживы ищут. Слово псы голодные, по кусочкам разрывают землю Божию.

Малюта задумчиво погладил своей большой, веснушчатой рукой лоб. Вздохнул.

– Чего уж тут иноземцы? Своим ныне веры не стало. Вона дьяк Самойла... Што старая лиса, – мордой землю втихомолку рыл, а хвостом заметал... Из царевой казны деньги царевым врагам пересылал, за рубеж... Опальным людям, изменникам помогал... Есть такое слово: не всяк спит, кто храпит. Не верь никому, друже! Я никому не верю.

– Страшно так-то! Бывал я во всех походах с государем Иваном Васильевичем. Видел много разных людей, и будто...

Вешняков вдруг замолчал.

Малюта нахмурился.

– Што «будто»? – сердито переспросил он.

– Будто не приходилось видеть злоумышления...

– Перекрестись! Што ты? Того и не думай, и не говори. Бывал и я в царевых походах, но злых людей немало видывал в войске. А ныне и вовсе. Вон дьяк Самойла показал, будто деньги своровали у него лихие люди... А пойманный нами на засеке чернец под пыткой покаялся, что-де пятьсот ефимков, найденных у него, получены от Самойлы, шток передать их в Вильне беглому боярину Повале Митриеву... Вот и думай!.. Чудом и царя-то Бог уберег, – враги-бояре, зная, убоялись всенародства... Рука не поднялась... А заговор был. Сам знаешь.

Послышался стук в дверь.

Вошел Василий Грязной.

– Мир сиденью вашему!

– Бог спасет, Василь Григорыч!.. Аль замерз?

– Когда батюшка государь примет нас?

– Сказывал батюшка государь: сидел бы ты и дожидался. Хлебни сусло! Теплое, душу греет, сердце радует. Да уж и то сказать: света Божьего не видит государь: либо послов принимает, либо грамоты королям отписывает...

– Редку неделю не гостит и на Пушечном, – сказал Малюта.

– И скоро ль у нас война кончится?.. – вздохнул Вешняков.

– Не нашего ума то дело, – угрюмо хлопнул ладонью по столу Малюта. – Не вздыхай. Государю от вздыхальщиков и без тебя проходу нет.

– Деревня опустела, обеднела, – продолжал Вешняков. – В среду был я в Мазилове, спрашиваю одного старика: «Как дела, дед?», – а он зубы оскалил, смеется: «Живем хорошо, колос от колосу – не слышать голоса; копна от копны – три дня езды!» Передал я царю его слова.

– Ну, а царь што?

– Винит приказы. Плохо-де вотчинам дозор чинят. Землю-де мало боронят, не радеют о хлебе бояре...

– А бояре болтают невесть что про царя. Винят его: людей, мол, не жалеет... – вставил свое слово и Василий Грязной. – Народ-де заморил...

– Слышал и я тоже, будто этак, – сказал Вешняков. – Войне наперекор идут. Мешают.

– Войне помешать – стало быть, Русь потерять... Того и нужно Жигимонду, того он и добивается... Кто не уразумел сего, – горе тому! Лучше бы он не родился на белый свет. А который уразумел, да идет против – того на плаху... голову рубить! – стукнув кулаком по столу, прорычал Малюта.

И Вешняков и Грязной, взглянув на него, испугались его звериных щелок-глаз... Стиснутые скулами, откуда-то издалека, словно прицеливаясь, смотрели глаза Малюты. Подавшееся вперед лицо покрылось бледностью, челюсти застучали, как в лихорадке. Он вскочил со скамьи и, отвернувшись от собеседников, стал молча глядеть в окно, поводя носом, как бы обнюхивая воздух и к чему-то прислушиваясь.

Вешняков и Грязной в страхе переглянулись.

Керстен Роде предстал перед царем.

Иван Васильевич до этого окропил «святой водой» ту горницу, в которой он тайно принимал бродягу-чужестранца, закрыл занавесками иконы, что бывало при совершении самых грешных дел.

Корсара сопровождали Грязной, Малюта и толмач Михаил Алехин.

Керстен Роде не привык унижаться. Соблюдая изысканную учтивость, Роде любил втайне рассматривать королей и всяких земных владык как своих данников. Самого себя мнил он королем из королей, владыкою человеческих жизней и полновластным хозяином чужого добра. При взгляде на какого-либо короля или вельможу ему было небезынтересно, сколько он, Керстен Роде, мог бы получить выкупа за оную персону, кабы она попала ему в руки.

Царь с усмешливым недоумением осмотрел корсара с ног до головы. Ему понравился бравый, могучий вид морского разбойника.

Толмач по приказу Ивана Васильевича спросил Керстена Роде, кто он.

– Кто я, где родился, кто мой отец – не ведаю. Знаю одно: морская бездна – мать моя; море – мои кости, мое сердце, мое тело, моя кровь, и думается мне, что море станет и моей могилой. Если мирно дышит ветер и волны тихо перешептываются – я постоянно слышу одно и то же: «Когда же ты, Керстен, наконец послужишь и морскому царю?»

Ответ корсара понравился Ивану Васильевичу. Он рассмеялся, переглянувшись с Малютой, которому Керстен также пришелся по душе.

– Спроси его, пошто бежал он в Москву.

Толмач перевел вопрос царя. Корсар низко поклонился, приложив ладонь правой руки к сердцу.

Своею заморскою учтивостью Керстен, обтянутый в черный бархат, с золотым ожерельем на шее, с руками в драгоценных перстнях, с золотой серьгой в виде полумесяца в правом ухе, напомнил царю иностранных именитых гостей, посещавших Москву. И показалось Ивану Васильевичу смешным, что разбойник с виду мало чем отличается от них.

Ответ корсара был кроток и почтителен:

– Прежде морского царя хочу послужить его величеству московскому государю.

Царь, совсем повеселевший, велел спросить корсара: не был ли он в родстве с каким-нибудь королевским домом.

Керстен ответил:

– Да, был, ваше величество.

Иван Васильевич расхохотался. Малюта и Грязной зажали рты рукой, чтобы тоже не расхохотаться в присутствии царя.

– Пускай поведает о том, как то было, – кивнул царь толмачу.

– На далеком, горячем море есть остров. Там люди черные, эфиопы... С ними я подружился, и король их почел великою честью для себя иметь такого благородного зятя, как я... Морские бури разлучили меня с моей королевой... Увы, великий государь, больше уже мне не суждено вернуться в то царство! И королевич эфиопский так и не увидит своего отца.

Иван Васильевич, слегка улыбаясь, со вниманием выслушал рассказ Керстена и шепнул на ухо Грязному, чтобы поместили его на Посольском дворе в особой палате и держали бы с почетом, не как обыкновенного иноземца, да присматривали бы: не было бы опасности его жизни от врагов царевых. Да и за самим корсаром присмотреть не лишне.

– Беру тебя на свою, государеву, службу. Но должен ты крест целовать в верности московскому царю и грамоту цареву выполнять совестливо.

Алехин перевел ему слова Ивана Васильевича.

Керстен Роде низко поклонился.

Царь сказал:

– Мои корабли по пути в аглицкое и другие государства терпят постоянные обиды от польских, швейских и аламанских пиратов. Те разбойники грабят неповинных, вольных купцов из многих христианских государств, убивают, и корабли их и все товары в полон берут, и злодейским способом мучают, и убытки им и нашему царскому величеству причиняют многие. Того ради будь нашим корабленником, защитником наших и дружественных нам иноземных мореплавателей. Будешь ли? Тебе ведомы разбойничьи повадки, и ты сумеешь побить тех пиратов.

Керстен Роде, подняв правую руку, поклялся, что он принимает как ниспосланный ему самим Вседержителем дар служение на море такому великому и славному государю. Весь мир почитает московского великого князя Ивана Васильевича, ибо он прямой наследник достохвальных римских кесарей.

Василий Грязной чуть было не прищелкнул языком от восторга: «Ах, мошенник! Твои речи да Богу в уши! Сам Николай-угодник не угодил бы царю лучше этого морского разбойника!»

Иван Васильевич с видимым удовольствием и царственно снисходительной улыбкой выслушал речь Керстена Роде, допустив его даже облобызать свою царскую руку.

– Василий, накажи Басманову – отписал бы он с Висковатым жалованную грамоту сему корабленнику и чтобы допрежь того явился ко мне для совета.

Грязной стал на колени, поклонился царю.

В сопровождении Грязного, толмача Алехина корсар удалился из царевой палаты.

После его ухода царь велел поскорее принести кувшин для омовения рук и тщательно вымыл ту руку, которую облобызал корсар.

Малюту Иван Васильевич оставил в палате.

– Ну, Григорий Лукьяныч, что молвишь?

– Твоя воля священна, государь!.. – поклонившись, ответил Малюта. – Однако не могу о том промолчать, батюшка Иван Васильевич, не надежен он, да и все немцы, што льнут к нам, скрытую корысть имеют, и не верю я им.

– Не верю и я им, Лукьяныч. Но государю не столь прискорбно терпеть обман от чужеземцев, сколь от своих вельмож. Подбери-ка корабленнику надежных людей. Не худо бы со Студеного моря своих мореходов ему в помощь дать. Они бы нашу снасть оберегали и были бы нашим глазом при нем. Пушкарей поставить вельми искусных в стрельнии. Да следи, чтобы все в тайне было. Не болтали бы о кораблях и об атамане... Пускай Жигимонд ничего не знает о том. Королева Елизавета имеет своих корсаров, испанский король також, и свейский, и аламанский, – почто нам в загоне быть? Позаботься там...

– Слушаю, великий государь!..

На следующий день Малюта держал тайный совет со своим другом боярином Алексеем Даниловичем Басмановым, прославившимся под стенами Казани, Нарвы и Полоцка.

Дело предстояло решить нелегкое.

Царь всему миру объявил:

– Море мы отвоевали. Оно наше, и Нарвы никому не отдадим. Плавали мы по морям с древних пор, будем плавать и впредь.

Надо поставить на корабли таких людей, которые бы смогли богатырствовать на море, оружием защищать суда как свои, так и чужеземные, ведущие торговлю с Москвой. Эти люди должны быть преданными своему государю, отважными, ловкими в бою, хорошими матросами и пушкарями.

Керстен Роде обещал найти в Нарве нужных людей из чужеземцев, привычных к плаванью на море, но царь пожелал, чтобы на московских кораблях было побольше его подданных.

Хлопот было много.

Иван Михайлович Висковатый и Алехин составили на имя Керстена Роде обширную грамоту. Московский великий князь и царь всея Руси Иван Васильевич жаловал «дацкого» морехода Керстена Роде «атаманской» властью над московскими кораблями; в грамоте были перечислены те обиды и утеснения, что претерпело «нарвское плавание» от литовских, немецких и свейских каперов на Балтийском море.

В этой грамоте говорилось:

«...Наше царское приказание атаману Керстен Роде и его товарищам и помощникам силою врагов взять, поймать, убить или в полоне держать, а их корабли огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять, согласно нашего царского величества грамоты... А нашим воеводам и всяким приказным людям и иным всяким, кто бы ни был, того нашего атамана Керстена Роде и его скиперов-товарищей и помощников в наши пристанища, где ни буди, – на море

и на земле, – в береженье и чести держать, запасу или что и надобно, без зацепки, как торг подымет, продать и не обидеть».

Царь Иван велел написать, что Керстен Роде отныне не разбойник и не вор, а его, царского величества, слуга, доверенный человек, взятый на службу царем не для «морского разбоя», но для доброго береженья послов и торговых людей, «кои из заморских городов в Нарву плывут и из нее уплывают в свою землю».

Снарядить и оснастить корабли для Керстена Роде велено было боярину Лыкову. Человек бывалый, Лыков изъездил Европу из конца в конец. Воеводе нарвскому, а также строителю пристанищ Шастуну наказано было присмотр за отправкою кораблей иметь.

Висковатый посетил Курбского накануне его отъезда в Дерпт.

Андрей Михайлович подробно расспросил его о переговорах царя с польско-литовскими послами. Он от души смеялся над упорством Ивана Васильевича, сотни раз повторявшего, что «Лифляндская земля – извечная вотчина его прародителей, русских князей». Курбскому казалось «несусветным чудачеством» и требование его о признании королем Сигизмундом за ним царского титула.

– Великий князь он, а не царь, – холодно произнес Курбский. – Чего ради возвеличиваться, да и от других требовать, чтобы возвеличивали?! Сигизмунд горд и политичен.

Мужественное, открытое лицо Курбского, по природе слегка насмешливое, покрылось пятнами от волнения, когда Висковатый рассказал, как настойчиво требует царь выдачи отъехавших в Литву бояр, князей и дьяков.

– Ну, а что Макарий?

Висковатый с улыбкой развел руками:

– Што великий князь, то и Макарий. Нету уж ноне тех иерархов... Подмял под себя святую церковь наш великий князь. Макарий! Жмется он, как истый иосифлянин, к князю... Прав Вассиан: холопами стали попы. Будто ты его, Андрей Михайлович, не знаешь! Неспроста он возвел на соборе в святые великого князя Александра Ярославича... Царь того князя своим прямым прародителем почитает... И ныне повсюду его образа красуются... Черный народ той лживой иконе молится...

Курбский с улыбкой покачал головой:

– Невскому князю и я молюсь. Храбрый воин; спас он нашу матушку Русь!.. Знатно бил он лифляндских князей... И народ за то его почитает. Головы неповинным он не усекал. Землю оборонял не ради честолюбия, не ради алчности и причуд. Гордынею своею не красовался... Поистине, святой князь!..

При этих словах Курбский набожно перекрестился.

Висковатый не стал спорить, он перевел разговор на другое.

– Дожили мы с тобою, Андрей Михайлович, – наш царь-государь даже с разбойниками дружбу свел, между нами будь сказано.

Висковатый под большим секретом рассказал князю о появившемся при царском дворе корсаре и о том, что Иван Васильевич тайно снаряжает ему караван кораблей. Каково доверие?! Своих воевод таким доверием не обрекал.

– Дивлюсь я, сколь неразборчив великий князь в людях! – пожал плечами Курбский. – Обождем, как на сию разбойную затею взглянет литовский король. Ведете переговоры о мире, а сами корабли готовите для нападения?.. Худое дело задумано. Все короли всполошатся, коли узнают. Уронит наш великий князь свой сан и свое имя, погубит родину.

При расставаньи толстяк Висковатый, широко раскинув руки, крепко прижался своим теплым, пухлым подбородком к щеке князя Курбского.

– Ладно, Иван Михайлович, потерпим. Свара будет еще великая. Апостол Павел говорит: «Духа не угашайте! Буква убивает, а дух животворит!» Царские законы – буква, а наше недо-

вольство – дух живой. Князя не сдаются столь позорно, как того ждет царь. Уеду я в Дерпт, не сложив оружия... Нет! Борьба продолжается... И вы не будьте ягнятами... духа не угашайте!

На глазах у Висковатого выступили слезы.

– Крепимся, князь... Держимся надеждою...

– Надежды мало... Нужны дела... Пока меч у вас в руках, вы – сила! Прискорбно смуте радоваться, да нет у нас иного исхода.

– Да, нужны дела!.. – тихо повторил слова князя Висковатый. – Бог поможет нам... Хоша, не скрою, мудростью Господь Ивана Васильевича не обидел... и царскою твердостью тоже... Не ошибиться бы...

Курбский промолчал.

Иван Васильевич поднялся с своего ложа ранее обыкновенного, затемно. Из головы не выходила мысль о болезни митрополита. Еще один старый друг на смертном одре.

Сбросив с себя одеяло, царь сунул ноги в теплые обшитые сафьяном туфли, накинул на плечи пестрый, подбитый мехом халат, подошел к двери и крикнул постельничьего.

Вошел Вешняков, зажег свечи.

– Пускай уведомят преподобного отца – буду у него в полдень.

Вешняков стал готовить умывание.

Иван Васильевич скинул халат, снял рубашку по пояс, склонился над большой умывальной чашей. Вешняков помог царю, обильно поливая из кувшина его широкую спину, шею и голову. Царь умывался подолгу и с большим усердием, часто смотрелся в большое зеркало, с видимым удовольствием похлопывая себя по могучей волосатой груди.

– Худ становлюсь я! Что скажешь?! Глянь на меня!

Вешняков поднял робкий взгляд на царя. Постельничий знал, что Иван Васильевич мнителен, сильно заботится о своем здоровье. То и дело он выписывает из-за границы лекарей. Вот и теперь около него появился чужеземец-лекарь по имени Бомелий. Знахари тоже постоянные гости во дворце.

– Ну!.. – нетерпеливо толкнул его царь.

Молодое, обрамленное русою кудрявою бородкою лицо Вешнякова разругалось. Что сказать?! На слова он был не находчив и не речист, зато быстро и деловито выполнял все приказания царя.

– Бог щедр к земным владыкам, великий государь! Его постоянное благоволение простирается над твоей царской милостью. И глаз подданных твоих радуется, видя твое, государево, здоровье, – произнес он на память слова, которые некогда подслушал у митрополита Макария.

Иван Васильевич остался доволен ответом постельничьего.

После его ухода он, уже совсем одевшийся, подошел к зеркалу и, взлохматив бороду, увидел в ней несколько седых волос. Покачал головою. Надобно бы выдернуть, да грешно! Тщательно расчесав волосы на голове и бороду, опустил в кресло.

Настроение Ивана Васильевича изменилось.

«Старость? Рано! Три десятка с четырьмя годами прожил на свете, а сделано мало. Ничего не сделано. Ливония так и не завоевана. Нет. Неправда! Молодость прошла не зря. Бога гневить грешно».

Глубокое раздумье овладело царем.

Затеяно большое дело. Воеводы стараются угодить ему, царю, но лучше, если бы они думали о войне то же, что думает царь. Усердствует Морозов, усердствует Лыков, из кожи оба лезут, чтобы доказать свое доброхотство. Не отстают от них и Воротынский с Шереметевым, но что там у них в голове? Он, царь, хорошо знает, что не то... не то!.. Страшно! Море... море!.. Когда же их головы склонятся перед твоими водами? Курбский смелее, правдивее. Нельзя ни с кем его сравнить... Горд он, с норовом, хитер, неуступчив порою, но он-то уж понимает,

чего хочет царь. Увы!.. Он понимает, что море еще сильнее поднимет власть царя, еще выше вознесет над миром Московскую державу и еще более ослабит княжескую гордыню на Руси... Ни один город на Руси тогда не сможет сравняться с Москвой. Он понимает...

Иван Васильевич задумался. Мелькнула удивительная мысль: хорошо ли, что Курбский понимает, чего добивается он, царь? Ведь и Курбский вначале был против войны с Ливонией, потом пошел на попятную. Принялся с большим ожесточением, честно бить ливонских рыцарей... Но... как мог он, гордец, примириться с уступкой царю, и от чистого ли сердца то?

Одно за другим возникали в голове царя сомнения.

Почему поведение воевод никогда не было таким смиренным, как в последнее время? Не худой ли то признак? Не кроется ли под этим какого-либо умысла?..

Иван Васильевич на днях сказал Малюте, что больше всего теперь он, государь, боится «смиренных» бояр и князей.

Малюта некоторое время медлил с ответом, что-то обдумывал, и вдруг сказал:

– Кто в злобе скрытен, тот обладает оружием сильнейшим, великий государь! Истинно!

– Стало быть, они сильнее меня, ибо я не могу скрывать своей злобы.

– Они сильнее тебя, батюшка Иван Васильевич, – угрюмо ответил Малюта.

– Но мы должны сделать их слабее меня.

– Бог поможет нам в этом, государь.

– А из людей многие ли помогут?..

– Многие... весь народ...

– Народ? – Царь испытующе посмотрел на Малюту. – Народ мне помогает на полях битвы... но в оном деле народ слеп, темен... Григорий, скажи: много ли ты знаешь людей, которые помогут мне быть сильнее моих вельмож?..

– Знаю...

– Много их?..

– Много... За них я ручаюсь, государь... Они ждут! – сжав кулаки, втянув голову в плечи и раздувая ноздри, проговорил Малюта. – Жилы вытянем из твоих недругов!

Царь обнял его.

После этого началась тайная беседа о порубежных областных воеводах. Царь и Малюта перебирали имена воевод, вспоминали их прошлые заслуги и вины, их друзей...

– Негоже им засиживаться на одном месте, – сказал Малюта. – Пображничали, поблудили и с места долой, в другой уезд либо на другой рубеж...

Теперь, наедине с самим собою, царь вспоминал во всех мелочах ту беседу с Малютой. Одно упустил он из виду: в каких мерах те воеводы к князю Курбскому? Малюте надобно дать наказ: пускай разведает...

Совсем недавно приблизил он к себе Малюту, этого незнатного дворянина, но уже проникся к нему полным доверием. Мало того, этот крепкий, расторопный, бессердечный человек стал необходимым ему, как его, царев, глаз, как неторопливый, но в то же время беспрекословный исполнитель воли царской. Его неторопливость не есть расторопность. Она – и не отсутствие холопского усердия. Она помогла Ивану Васильевичу распознать в Малюте человека степенного, делового, не слепого исполнителя его приказаний, а гордого, молчаливого, нелюбимого в государственных делах слугу, ярого сторонника среднего и мелкого дворянства.

Иван Васильевич в своих людях любил доблесть и воинскую отвагу, и не раз в походах он любовался безумной храбростью дворянина Григория Лукьяныча Скуратова-Бельского, никогда не дорожившего своею жизнью и не знавшего пощады ко врагам, жестоко каравшего их.

Государю любо видеть страшную ненависть и неутолимую злобу, которые загораются в глазах Малюты при одном упоминании о ливонских рыцарях. Бояре не имеют такого кровавого ожесточения против немцев, хотя и воевали с ними и побивали их в боях. А некоторые из них тайне желают и неуспеха в этой войне. Для дворянина Бельского немецкие рыцари – лютые

враги. Да и бояре тоже. Еще бы! Бояре презирают худородность дворян, приближенных ныне ко двору! Малюта самолюбив... Это хорошо! С ним спокойно. Это – новый человек при дворе.

Иван Васильевич вдруг удивился сам на себя: почему он так долго размышляет о Малюте? Не потому ли, что теперь ему, царю, нужны люди, люди особенные, новые, такие, каких, может быть, не имел ни один из великих князей, до него живших?

Иван Васильевич с лукавой улыбкой подумал: «Царю нужны всякие люди – нужен Курбский, нужен и Малюта... А Курбскому не нужен Малюта, и Малюте не нужен Курбский... И кто-то из них один другого съест!.. Это должно случиться, но кто?»

В приходе Варвары-великомученицы ютился окруженный невысоким тесовым забором неказистый бревенчатый домик. И на дворе и снаружи жилище говорило о неряшливости его обитателей. Трудно ли прибить болтающуюся на одном гвозде доску у забора? Ничего не стоит поправить и покосившиеся ворота. Редко кто-либо из московских жителей спокойно взирал бы на облитую помоями мерзлую кучу мусора у самого крыльца. В Москве не в почете подобные непорядливые и нерачительные хозяева.

Чей же это дом? Что за люди живут в нем?

Дом этот дьяка Посольского приказа Ивана Ивановича Колымета.

Вот и сам хозяин появился на крыльце, сбегал за угол, вышел, застегиваясь, плюнул, пошел обратно в дом. Штаны сзади рваные, валенки худые.

В небольшой горнице бражничают четверо его друзей. Один – его племянник Михайла Яковлевич Колымет, тоже слуга Посольского приказа, другой – Гаврило Кайсаров, дьяк Поместного приказа, третий – слуга князя Курбского, Вася Шибанов, четвертый – дворянин, подьячий Нефедов, служивший некогда писарем у бывшего царского советника Сильвестра.

– Уф! Холодно, – потирая руки, сказал Иван Иванович, вернувшись со двора в горницу. – Дай-ка погреюсь!

И, присев на корточках около печурки, стал продолжать прерванный до того разговор:

– Не нужны, видать, мы стали... Отслужили свое... к послам не подпускают... В черном теле держат... Кто тут супротив нас – и в ум не возьму, но вижу: чести нам нет!

– Какая уж тут честь, коль нечего есть!.. Бедность нас с тобой, дядюшка, одолела... – отозвался Михайла Яковлевич.

– Когда около литовских послов в прошлые времена терлись, известно, доходишко был... лепта была, а ноне у нас с тобой в Посольском одна лебеда... С кого возьмешь? С немца? Возьмет кто-нибудь, да не мы. Есть покрупнее щуки... Им надо!

– Будто у вас запасец не накоплен? – робко спросил Вася Шибанов, молодой, румяный паренек с едва заметным пушком на губе.

Иван Иванович поводит языком под верхней губой (его постоянная привычка, когда он что-нибудь обдумывал), вздохнул, погладил ладонью себя по груди и сказал с ядовитой усмешкой:

– Кабы, как говорится, был снежок, скатили бы и комок! На кой бы мне леший в те поры Москва? Сто лет Ивану Васильевичу прослужишь, а толку из того никакого!.. Денежки – што голубушки: где обживутся, там и живут... Чай, Григорий Малюта не пожалуется... Гляди, как живет. Не дом, а благодать!.. О Басманове и говорить неча... Васька Грязной, что конь без узды... по вину и по девкам! Шурья государевы, Темрюки Черкасские, Щелкаловы, Мстиславские, Захарьины – вот кто живет! А в Посольском приказе вон и Годуновы появились: Григорий, Никита и Михаил... А наше дело што!

– Ты бы, сударь Иван Иванович, к моему князю на службу пошел, к Андрею Михайловичу? – голосом, в котором слышалось сочувствие, спросил Шибанов.

Черный, с взъерошенными волосами, головастый, какой-то весь щетинистый, грязный, Колымет насторожился:

– Ась?!!

Сделал вид, что не расслышал.

Шибанов повторил свой вопрос и добавил:

– Государь посылает князя старшим воеводою в Дерпт.

– В Дерпт? – оживился Иван Иванович.

– Да, в Ливонию...

Дядя с племянником переглянулись. На полном, упитанном лице молодого Колымета появилась радостная улыбка.

– Добро. Пора бы царьку давно до того додуматься! – сказал он. – Кабы Висковатый отпустил, то чего бы нам не пойти к князю на службу... Плохо ли! Наскучила неудачливая жизнь в Москве. Другим, видно, пришла пора сытные места уступить, – новым!.. А нам прозябание, а может, и темница... Адашевские мы, силвестровские писаря...

– Висковатый отпустит... Его самого, князь говорит, оттирают от посольских дел, – знающе заметил Шибанов. – Он подбирает князю людей на службу... Писемский будто метит на его место.

Оживился и Гаврило Кайсаров.

– В Поместном приказе и мне не житье... И я бы пошел. Плохо стало и в нашем деле. Худородных испоместить – все одно што из пустой чаши щи хлебнуть... Дохода нет. Занедужил я от той скудости, тоска гложет по ночам – все думаю и размышляю: как буду жить?! Попроси, голубчик, князя и за меня... Челяднин отпустит, коли челом буду бить. А там, думается, народ пуганый, завоеванный... нет в нем той строптивости, што у наших дворян. Жить, думается, там можно?

– Не ведаю, какой народ там, а порадеть пред князем за вас порадею... – ответил Шибанов.

– Изопьем же чашу! – воскликнул Иван Иванович.

– За здоровье князя Андрея Михайловича!

– Да уж заодно и за милостивца нашего, князя Владимира Андреевича Старицкого!.. – провозгласил хмельной Кайсаров.

– Тише, дурень! Обалдел? – испуганно стукнул его по спине Колымет. – Спаси Бог, услышит! Што знаешь – держи за зубами. Не забегай вперед.

– Эх, брат Иван! Уж до чего тяжело. Когда же?

– Молчи! – прошипел на него Колымет. – Болтлив ты!

Кайсаров зажал себе рот ладонью. Накануне только он продал немцу Штадену список с тайной грамоты Посольского приказа голландскому послу о датском мореходе, поступившем к царю на службу. А списал ту грамоту воровски у того же самого Колымета, когда тот беспробудно спал после одной пирушки. Вдруг резнула мысль: не выдал бы Штаден! Болтают, что человек он лихой и в доверие к царю всяким способом влезает. Бывает такое, что через донос люди возвышаются. На что бы лучше теперь же убраться из Москвы в Литву... Чего ждать прихода Сигизмундова сюда?! Пожалуй, еще и убраться из Москвы не успеешь, как тебя самого сцапают. Глупцы – заговорщики-бояре, что таятся здесь!

– Князя Курбского я, как отца родного, люблю, – произнес он после некоторого молчания. – Велик он! И умен, и дороден, и воинской доблестью украшен – всем взял! Скажи-ка ему, Вася, – мол, спит и видит Кайсаров, как бы ему к тебе, князю, на службу перейти!

– На кого же oprичь-то надеяться нам с тобой, Миша, в проклятой вотчине тирана московского? – сквозь пьяные слезы воскликнул дремавший дотоле подьячий Нефедов. – На кого? Двадцать лет я в подьячих хожу... Силвестр – и тот не удостоил меня своей милостью... Князь меня хорошо знает... Ох, Господи!

– Буде хныкать! – поморщившись, посмотрел в его сторону Шибанов. – Стало быть, не за што было... Стало быть, не заслужил...

Нефедов гадко обругал Шибанова и снова стал дремать.

– Такие люди есть... – продолжал Шибанов. – Им все давай, а они ничего... И все им мало, и все они всем завидуют, у всех добро считают: кто што имеет, кто чем богат... В чужих руках ломоть велик, а как нам достанется – мало покажется. Не люблю таких!.. Не двадцать, а сто лет такой просидит в приказе и постоянно будет нищ и незнатен.

– Ладно, Вася, не мудрствуй! Молод еще ты Бог с ним! Это он так, спьяну... – похлопав по плечу Шибанова, засмеялся Иван Ивановича. – Человек он хороший. Всякие, Вася, люди бывают. Князь его знает.

– Иван Васильевич, батюшка наш государь, полюбил моего князя Андрея Михайловича, как родного. За што? За верную, непорочную службу, за усердие в делах царевых... Царь видит, кто и чего стоит... – не унимался Шибанов.

– Полно, Василий! – угрюмо возразил ему Иван Колымет. – Не верь государевой дружбе! Близ царя – близ смерти! Видал ли ты его? Молод ты еще, дите, разбираться в наших делах.

– Нет, близко царя я не видывал...

– То-то и есть. Всего три десятка с четырьмя годов ему, а зверь-зверем! Вот каков он! Глаза большие, насквозь глядят в человека... Пиявит! Ласковости никакой! Морщины... нос огромный, крючком, будто у ястреба... Зубы волчьи – большие, белые... С таким страшно в одной горнице сидеть, а ты толкуешь о дружбе...

– Андрей Михайлович говорит о царе, будто он лицом зело лепый... И статен, и голосом сладкозвучен... «Все бы хорош наш батюшка царь, – говорит Андрей Михайлович, – токмо властью прельстился, бояр ни во что ставит и князей перед всем народом унизил... Не к добру то!»

– А што ж и я тебе говорю! Разве народу жизнь при таком?.. – приблизившись своим лицом вплотную к лицу Шибанова, прошептал Колымет. – Не верги! Твой князь не такой, как ты думаешь. Полно тебе морочить нас. Не скрывай. Не любит он царя. Да и за што его любить?

– Народу от его лютости – гибель! – прорычал из угла Гаврило Кайсаров. – А Курбский – наш! Наш князь!

Василий Шибанов поднялся с места, красный, возбужденный.

– Грех порочить государя! Уймитесь! Народ его, батюшку, любит... Народ за него Богу молится, да не по внушению приставов, а по влечению сердца... Да и песни про царя сложены добрые, сердечные... Народ все обижают: и бояре, и князья, и того больше дворяне, пристава, волостели, целовальники... И князя моего не порочьте! Не надо. Прямой он.

– Он прямой, но токмо не с царем. Не любит он новин, – то я знаю, – недовольным голосом сказал Иван Колымет. – Ты, Вася, мало знаешь.

– Истинно так!.. Когда царь ввел в суды «излюбленных старост», кто больше всех ворчал тогда?! Твой князь да матушка Владимира Андреевича – Евфросиния.

Колымет весело рассмеялся. Захихикали и остальные его гости.

– Не знаю... – растерянно произнес Шибанов. – Малый человек я. Недавно и на службе у князя.

Шибанов встал, поклонился всем:

– Бог вам в помощь!.. Прощайте! А князю Андрею Михайловичу я о вас доложу. Он не откажет.

После его ухода Колымет и Кайсаров, потирая руки, весело рассмеялись:

– Как малое дите – Вася! Сам Курбский хорошо знает, што нам с ним по дороге!.. И просить за нас нечего. Дело и без того решенное. Эх, Вася, Вася! Птенец! Простофиля ты!

– Послушал бы, как «честит» царя Курбский в хоромах Владимира Андреевича. Он тоже был против наследования Дмитрием-царевичем престола в дни болезни царя... И с Вассианом Патрикеевым не он ли был в согласии? Вчера князь Андрей прямо от царя ходил тайком к Владимиру Андреевичу под видом монаха...

– Э-эх, кабы Иван Васильевич Богу душу отдал, да на престол Владимира Андреевича бы возвести – вот бы жизнь-то у нас получилась! – закатив мечтательно глаза, произнес Кайсаров. – В те поры и батюшка Сильвестр в вельможах бы остался, и Адашев...

– И Колычевы бы власть великую имели, а теперь Никиту на войне кто-то из своих же убил, а других – кого в темницу, кого казнили... Курбский поклялся вчера отомстить за них, – шепотом на ухо Кайсарову сказал Иван Колымет. – Обождите, еще все изменится... все повернется не туда, куда царь тянет... Есть тайное дело у меня. Всех его злодеев, льстецов и прихлебателей мы еще на плаху потащим... Сам я возьму в руки топор и головы начну им рубить... Вот как!.. Обождите.

Иван Колымет заставил поклясться Кайсарова и Нефедова, что они сохранят в тайне все, о чем он им скажет. Оба поклялись Богом, что будут хранить его слова в глубокой тайне.

Колымет сообщил шепотом: как ни охраняли пристава польско-литовских послов, а все же пан Вишневецкий, родственник бежавшего в Литву воеводы, удосужился передать ему кисет с деньгами для раздачи государевым служилым людям, имеющим мысль бежать в Литву, да и на Курбского он же намекал, чтоб те люди придерживались его. А один из них, Козлов, перешедший в польское подданство, из наших же, – он тоже был в посольстве, – и вовсе о выдаче королю нашего царя речь вел. Как токмо сам царь в поход пойдет... никто помехи чинить не будет, и Челяднин тоже. Люди свои. А царь, как слышно, собирается сам вести войско в Ливонию... Выждем год-два, а дождемся... Спасибо королевскому великому посольству – большое дело сделали!

В дверь постучали.

Колымет испуганно перекрестился: кто там? Вошел стрелецкий десятник Меркурий Невклюдов. Помолвившись на иконы, он поздоровался со всеми.

– Давно не видались... Мороз, гляди, загнал?

– Нет, Иван Иванович, не мороз, а тоска-кручина.

– Што такое, дружок?

– Нелегко мне опальных в пыточную избу таскать... Душа болит. Воин я, да током сердце мое слабое... Жаль мне всех!.. Глазыньки бы мои не глядели на лютость царскую!..

– Ладно. Садись. Вот... пей!..

– Бог спасет, Иван Иванович. Благодарствую! За твое здоровьице и за упокой Григория Лукьяныча!

– Вот еще дьявол появился! Откуда наш царек Малюту выкопал? – спросил Кайсаров.

– Басманов будто во дворец его ввел... – ответил Колымет.

– Сукин сын! Какой страх на всех нагнал. Собаки – и те притихли... боятся лаять... хвосты поджали.

– Обожди, еще хуже будет, – угрюмо сказал стрелец Невклюдов. – Слышал я – особый полк государь собирает... из дворян-головорезов... Клятвы с них будут брать, шток от отца и матери отрекались... Окромя царя, никого шток не признавали...

– Неужто правда? – в страхе воскликнул Колымет и Кайсаров.

– Правда.

## V

Поздно вечером освободился от работы в литейной яме на Пушечном дворе пушкарь Андрей Чохов. Вышел на волю, вобрал в себя всей грудью свежий воздух. Так хорошо кругом! Словно ему, именно ему, мигнула вон та маленькая звездочка, что высоко-высоко в небе над оснеженным Кремлем. Да что говорить! Где найдешь, в какой стране, город лучше Москвы?! А Кремль? Его три белые стены – словно волнистые ступени, устланные зеленоватым, изумруд-

ным ковром – полосами лунного света, и восходят те ступени вверх, к золоченым главам соборов, и дальше к небу.

Андрей помолился на сияющий в вышине крест и айда на усадьбу Печатного двора! Там маленький бревенчатый домик, а в том домике она, Охима. Двадцать семь лет! Такому дородному, веселому парню, как он, Андрей, не грешно иметь и зазнобу... Не первый ведь день той любви. Правда, был долго в разлуке, в походах, но любовь побеждает года...

Ночь хоть ветрена, но месячна, идти легко, легко и весело. Перешел Неглинку-реку и на холм взобрался. Вот она, диковинная хоромина Печатного двора, и расписные ворота его. Татарин-воротник – друг. Пропустил без ворчанья. «Селям алейкум!» – «Алейкум селям!»

Пробрался по сугробам в дальний угол двора к заветному домику.

– Холодно. Уф! – сказал Андрей, остановившись на пороге и отряхивая с себя снег. – Вот уж истинно: пришел Федул – ветер подул! Не серчай, что поздно.

– Буде, Федулище! Где пропадаешь? – усмехнулась Охима.

– Сёдни день святого Федула, к тому и говорю. Не серчай. Об эту пору постоянно ветры дуют. Старики пророчат: к урожаю-де. Врут или правда – не ведаю.

– Да ты садись. Полно болтать.

– Постой, – отстранил он ее. – Не торопись. Дай Богу помолиться. Видать, понапрасну тебя крестили. Была ты язычницею, ею и осталась.

Помолившись, Андрей смиренно опустил голову.

– Добрый вечер, сударыня!

Охима встала со скамьи и низко поклонилась Андрею.

Облобызались.

– Ох, матушка моя, великие дела у нас творятся... – располагаясь за столом, произнес Андрей. – Любовь – любовью, а дело свое требует.

– А ты нынче чего запоздал?

– То-то и оно. Работа!.. Хоть ночуй на Пушечном. Большое государево дело.

– Какое?

Андрей наклонился к ней:

– Молчи. Никому не говори. Государева тайна.

И совсем шепотом добавил:

– Пушки для кораблей куем, новые, широкодульные...

– Для кораблей?!

– Чего же ты удивляешься? Нарву, чай, брали не ради того, чтобы в воду глядеть. Плавать надо. Слышала, поди: топят наши корабли... Вон к твоему же хозяину, к Ивану Федорову, станки из Дании везли заморские, а немецкие либо литовские разбойники потопили их. Пушки нам надобны малые, но убоистые... Нынче у нас на дворе сам батюшка государь Иван Васильевич был. Доброю похвалою нас пожаловал... Чего же ты сидишь? Аль нечем угостить, аль гость не люб тебе?

Ой, юница-молодица,  
подавай живой водицы!

Охима с улыбкой засуетилась, слушая парня. Поставила кувшин с брагой да чашу с грибами солеными, другую с капустой квашеной, чеснок накрошила, хлеба нарезала.

– У нас с тобой истинно княжеский пир, – сказал Андрей, потирая от удовольствия руки, и зачистил вполголоса:

Рябой кот блины пек,  
Косой заяц нанес яиц,

Вывел детей – косых чертей...

Охима обняла парня, крепко поцеловала, покраснелась:

– Ах ты, мой бубень-бубенок! Все бы тебе прибаутошничать.

К пиршеству приступили с молитвою. За стол сели чинно. Наливая третью чарку, Андрей, совсем повеселевший, играя глазами, тихо запел:

Как по сеням, сеничкам,  
По частым переходичкам,  
Тут и ходила-гуляла  
Молодая боярыня,  
Приходила, пригуляла  
Ко кроваточке лисовую,  
Ко перинушке пуховую...

На этот раз хмель быстро ударил в голову Андрею. Охима крепкую брагу сберегла для него. Свою чашу она только пригубила, поднимала так, для вида. Он это заметил, но ничего не сказал, хотелось самому побольше в этот вечер выпить. На Пушечном дворе ведь и в самом деле большой праздник – царь похвалил работу пушкарей-литцов; по гривне приказал выдать им. На душе весело. Пускай на воле мороз, зимняя погода! Пускай бесы воют в трубе да намегают сугробы поперек дороги. Здесь уютно. Охима ласковая, глаза ее блестят, сверкают; до самого сердца проникает их полный любви взор, а в печурке тлеют красные угольки. Тепло. Хорошо.

И опять Андрей заговорил о войне.

– Видать, самим Богом так указано. И до Ивана Васильевича воевали, и теперь воюем. Русь крепка, неподатлива. Своего никому не уступит! Э-эх, Охимушка, дорогая, люблю тебя! Никому не отдам!..

Андрей ударил кулаком по столу:

– Слыхала? Телятьев, сукин сын! Порочил меня, батожьем сек, сгубить хотел, а ныне царю изменил... Ускакал, будто заяц, в Литву... Наш брат, как был на Пушечном, так на нем и сидит, а бояре все с него утекли... Словно их корова слизнула.

Охима толкнула его:

– Буде. Што нам бояре? Есть они или нет – нам о них заботы мало. Прижмись покрепче!

– Врешь! – сердито крикнул Андрей. – Не забыл я, как меня, заместо Пушечного, плотничать послали... Кто?! Телятьев! Царь шлет в литейные ямы, а боярин гонит мост удельвать. Не забыл я, как он бродягу Кречета подкупил, штоб меня в лесу убить... За што? Што я – пушкарем был исправным, пожалован царским словом ласковым...

– Чего старину поминать?... Да и царь-государь тебя не забыл, обиды учинял тебе немалые...

Андрей уставился с хмельной улыбкой на Охиму:

– Баба ты, баба! Царь один, а бояр сотни... Царь, коли прогневается, – тебе один ответ, а коли сотня бояр пройдет по твоей спине, тогда уж лучше царь, нежели стая бояр! Тоже... спина-то человечья, не каменная.

Охима грустно вздохнула:

– Ваш Бог злой, несправедливый.

Андрей погрозился на нее пальцем:

– У нас с тобой теперь один Бог... Не забывай!

Охима покачала головой. На лице ее выступили красные пятна. В голосе ее слышалось волнение:

– Меня крестили, но я от мордовского Чам-Паса не отреклась... У меня два Бога...

Андрей насупился:

– Полно. Двум Богам не молись. Либо нашему, либо Чам-Пасу... Ну, говори! Какого Бога избираешь?

Охима с улыбкой тихо сказала:

– Твоего. Потому что он – твой.

Андрею почему-то стало жаль Охиму. Он погладил ее по плечу ласково.

– Ладно. Молись Чам-Пасу, все одно ты наша, русская... Многие народы у нас и разные веры, а воюют все одно вместе... И на Пушечном дворе есть и татары и мордва, а работают с нами заодно. И все одно ты меня любила больше своего жениха Алтыша... Даром что он мордвин, а я русский...

Андрей вспомнил, как бывший жених Охимы, мордовский наездник Алтыш Вешкотин, вернувшись с войны из Ливонии, сказал ей, вынув из ножен саблю:

– Я или он?

Охима бесстрашно ответила:

– Он.

Сабля вывалилась из рук Алтыша.

– Прощай! – сказал он, и больше его уже не видала Охима.

Андрей подвинулся к ней и тихо, вкрадчиво заговорил:

– Люблю я тебя, то ты знаешь... И ни на кого я тебя не променяю. Так вот слушай. Боярин Басманов вчера сказал мне: «Ты добрый пушкарь, и пошлем мы тебя на тех кораблях в чужие страны...» Охима, Охимушка, не плачь, коли на корабль меня посадят. Жив буду – вернусь. Богу не ужогу, то хоть людей удивлю. Чего нахмурилась? Посмотрю, какие там пушкари! Свой глаз – алмаз, чужой – стекло. Ливонских пушкарей видел: похвальбой богаты, а делом бедны. Погляжу на иных...

Охима прикинулась спокойной, будто ее не тронули слова Андрея, отвела его руки в стороны.

– Уймись, – сказала она небрежно. – Чего красуешься?

– Пять кораблей снаряжает царь... Наши пушки ставят на них... Будем с морскими разбойниками воевать... Топить их будем!..

– Не болтай! – дернула она его за рукав. – Не хвались. Доброе дело само себя похвалит.

Андрей замолчал, сел за стол, опустив голову на руки, тяжело вздохнул.

– Эк-кое времечко, – тихо произнес он. – Дай-ка еще браги!

– Нету больше... Што было – выпил.

– М-да... Не хочется мне тебя покидать...

– Милый, желанный... Не уезжай! – прижалась она к его могучей груди.

– Милая... желанная и ты!.. – отстранил ее и снимая с нее бусы, шепчет Андрей.

Бусы отложены далеко в сторону.

Уже косы ее распущены, и голос уже не тот...

– Велик день, красна заря, как сошлись мы с тобой тогда на Волге... И чудесен путь, по которому шли мы с тобой в сей светлорусский град, чтоб увидеть государя батюшку... – говорил тихо с восторгом пушкарь в то время, как Охима прикрывала шелковым лоскутом икону. – Время идет, будто хлопья снега; летят и месяцы... Но любовь к тебе все крепче и крепче, моя ненаглядная!..

– Пускай была бы жизнь наша, как тихая река... Хочу с тобой быть всегда.

– Эх ты, ягодка моя!.. Не бывает река всегда тихою. И туманы, и ветры, и грозы беспокоят ее... Хоть бы виделись нам сны узорные, и за то благодарение Богу. Быль наша котлу жаркому подобна... Огонь... Чад... Паленый дух... Шипит... Бурлит!..

– Молчи! Ты не на Пушечном дворе. Что за огонь?!

- Ладно, лебедушка... Молчу.
  - Коли так, думай об одном: не светел ли месяц светит? А?
- Андрей рассмеялся.
- Ах ты, цветик мой, царская дочь! Трень-трень, гусельцы!
  - Давно бы так... Глупый! Не пущу я тебя никуда! Мой ты! Не выпущу!..

Василий Грязной начисто раскрыл свою душу перед братом Григорием.

Караульная изба в Котлах. Ночь, мороз, тоска, а он жалобно, не своим голосом, бубнит:

– Полюбилась она мне с давних пор... И ни еда, ни питье не идут в горло... Не угощай меня, брат, не томи... Хушь бы руки мне наложить на себя, разнесчастного...

Григорий старше Василия на семь лет. Степенный, черноглазый бородач. Ему смешно слушать эти речи брата.

– Эх, молодчик! К лицу ли тебе, царскому слуге, нюни распускать. Добывай счастье своей рукой...

– Да как же так? Венчаный ведь я на Феоктисте, Бог ее прости!.. Не любя она мне. Не хочу я ее. Засушит она меня.

– Ну, какая тут беда. Мало ль ныне чудес между венчанными... Возьми да и напусти на нее потворенную бабу<sup>9</sup>... Пуцдай на грех ее, Феоктисту, наведет... А посля того – в монастырь ее... грехи замаливать.

– Эх, брат! – тяжело вздохнул Василий, растрепав свои черные как смоль кудри.

– Ну, чего вздыхаешь? Аль не дело я говорю?

– Это одно. А другое того хуже...

Григорий с удивлением посмотрел на брата.

– Ну, чего еще хуже? Аль перед царем провинился?

– Не угадал, братец... Пропала моя головушка!

– Да ну, не тяни, сказывай, што еще у тебя? – всполошился Григорий.

Немного помолчав, совершенно раскиснувший, Василий робко промолвил:

– Та, о которой страдаю я, из головы у меня не выходит... монахиня она...

– Ого!.. – задумчиво протянул Григорий. – Дело суматошное... Худо, брат, худо. Опять блажить начал.

– То-то и оно! Не избыть мне моего горя-гореванного... Видать, уж конец мне пришел...

– Буде, щипаный ус! Негоже. Небось горе – не море: выпьешь до дна, охнешь, да не издохнешь... Тебе еще жить да гулять, да грешить вдосталь на роду написано.

– Так што же мне делать? Научи!

– Беда – ум родит... Вывертывайся сам, а я помогу...

Василий оживился, вскочил с места, крепко сжал рукоять сабли.

– Давно бы так, – добродушно ухмыльнулся брат. – Далеко ль та монахиня? Да и кто она?

– Не догадался? Григорьюшка, братец, подумай-ка! Может, вспомнишь? Я тебе сказывал о ней.

– Не колычевская ли блудница?

Василий побелел от гнева.

– Нет, Григорий! Она – святая, подобная ангелу. Не изрыгай хулу, не видя ее. Не блудница она...

Щеки его покрылись густым румянцем.

– Она ни в чем не повинна, не охотою ушла она и в монастырь, а заточил ее царь-государь батюшка.

– Не беда. Государю батюшке не до нее. Война!

---

<sup>9</sup> Сводня-чародейка.

– Ну, так присоветуй же мне, што теперь делать?

Григорий задумался. После продолжительного молчания он спросил:

– Далече ли тот монастырь?..

– В глухих раменах<sup>10</sup> Устюженской земли...

– Эге! Далече, – покачал головою Григорий. – Путь, как говорится, мерила старуха клюкой, да и махнула рукой... А выручать надо. За грехи свои на том свете распокаемся... А докудова поблудим малость.

– Говори же скорее... чего придумал? – нетерпеливо, вскочив с места, в отчаянье крикнул Василий.

– Скоро сказка, братец мой, сказывается, да не скоро дело делается... Садись-ка лучше да слушай... Не торопись. Исподволь и ольху согнешь, а вдруг и ель переломишь.

Василий сделал над собой усилие, притих. Стал терпеливо ожидать. Черные цыганские глаза его с крупными белками, опущенные густыми ресницами, вопросительно остановились на лице брата.

– Есть у меня тут один... Изловили мы татя<sup>11</sup>... – медленно начал Григорий. – Молодец хоть куда. А у него еще молодцов с десятков... Разбойнички один к одному. Ведь тебе из Москвы не уехать незаметно... Может государь спохватиться да Малюта... Теперь ведь он твой начальник. А эти молодцы вот как у меня в руках!

Григорий энергично выбросил вперед обе руки с крепко сжатыми кулаками.

– Вот они здесь у меня. У немца они, у Штадена, сокрыты в сарае.

– Ну, ну, слушаю!.. – шептал взволнованный Василий.

– Они поскачут в ту обитель, ограбят ее и увезут твою зазнобу... А допрежь того ты удали от себя Феоктисту... Пока ты сего не совершишь, отправлять молодцов мне не рука. Я держу их под замком. Они уже помогали мне в иных делах. Глядя у меня: язык за зубами, не болтай! Виду не показывай, что тоскуешь... Станет все по-твоему, а государю-батюшке подлинно не до нас... С Литвой свара. Да и братец его, Юрий Васильевич, помре. Митрополит тоже на ладан дышит. Не до нас ему.

– Ладно, братец. Благодарю. Бог спасет! Сам хитрец-дьяк Висковатый того не придумал бы, что ты, братец, мне присоветовал... Прощай, сяду на коня. В объезд!..

Братья облобызались.

Василий, зло сжимая рукоять сабли, вышел из избы бодрою, размашистой походкой. На душе сразу полегчало... Григорий весело рассмеялся ему вслед: «Дело будет!»

## VI

В приемных покоях митрополита Макария людно, но тихо. Собравшиеся здесь игумены, монахи, белое духовенство, дьяконы, пономари и просвирни перешептываются о том, что митрополиту стало хуже. Недуг усиливается.

Предвидя скорую кончину митрополита, духовные лица тайно судили, всяк по-своему, об умирающем архипастыре.

Одним, уединившись в сторонке, обвиняли митрополита в том, что он, якобы честолюбия ради и по робости духа, потворствовал царю, не наставлял его «на путь правды и добра, как Сильвестр и Адашев». Ведь Макарий стал около царя с тринадцатилетнего возраста его. «Хитрец он, – говорили они, – руки умывал, подобно Пилату, видя жестокость государя, и тем его портил».

---

<sup>10</sup> Лесные уголья.

<sup>11</sup> Вор, грабитель.

Другие, наоборот, восхваляли митрополита, говоря о его мудрой кротости и справедливости, называя его «тихим деятелем, его же любит Бог». Они отвергали обвинения, возводимые на Макария, в честолюбии, напоминая о том, что сам митрополит много раз отказывался от своего сана, прося царя отпустить его в монастырь, чтобы провести остаток жизни «в молчаливом уединении».

Они напоминали и о том, что мудрейший из старцев, Максим Грек, восхвалял «христоролепную тихость, кротость и книжную ученость» болящего первосвященника.

Третьи указывали на преклонный возраст Макария. Может ли немощный восьмидесятилетний старец обуздать объятых страстями буйного, грозного царя? Благо, что он никогда не льстил царю и не унижался перед ним. Сан митрополита держал с честью двадцать один год. Прежде бывшие митрополиты не могли продержаться на первосвященническом месте и двух лет.

Духовенство собралось для встречи царя с подобающей торжественностью.

Немногим из московского духовенства выпало счастье удостоиться чести лицезреть в этот день Ивана Васильевича.

На иеромонаха Дмитрия Толмача было возложено блюсти чин этой встречи. Толмач ранее слыл помощником Максима Грека, мужа ученейшего и своей мудростью привлечшего к себе внимание великих князей Ивана Третьего и Василия Ивановича. После великокняжеской опалы, павшей на Максима Грека, Дмитрий Толмач был бесстрашно взят митрополитом Макарием к себе на подворье. В благодарность Толмач посвятил митрополиту своей перевод Псалтыря Брюно, епископа Вюрцбургского, за что Макарий его щедро одарил.

По пути следования государя от дворца до митрополичьего подворья Грязной расставил самых видных стрельцов с секирами. Они стояли в ожидании царя, будто вкопанные, – строгие, неподвижные великаны.

Пригревало полуденное солнце. Золоченые купола кремлевских церквей пламенели в вышине, похожие на громадные светильники, уходящие языками огней в голубую высь...

По сторонам устланной коврами дорожки, где должен был следовать государь, стояли с непокрытыми головами кремлевские жители, вышедшие из домов поклониться царю.

Иван Васильевич, опираясь на длинный посох, появился на красном крыльце дворца, окруженный рындами и боярами.

На нем бархатная, широкая, опушенная соболями шуба, бобровая шапка, осыпанная драгоценными камнями и жемчугом.

Ступал он тихо, медленно, в задумчивости. Иногда останавливался. Внимание его на минуту привлекла стая белоснежных голубей, которая закружилась, взлетела высоко над собором Успенья. В стороне, на кремлевском дворе, царь увидел толпу ратников. Они волокли на плечах бревна. Остановился, покачал головой, видимо чем-то недовольный, двинулся дальше по дорожке к собору. Провожавшие его вельможи подобострастно замедлили шаг, боясь забежать вперед. Они не спускали глаз с высокой фигуры царя, робко поглядывали на его шею, слегка прикрытую подстриженными скобою волосами. Шея сильная, жилистая, говорит об упрямстве и властности. Такая шея может склониться только перед Богом.

Остановившись около митрополичьего подворья, Иван Васильевич оглядел с недовольным видом толпу своих провожатых. Бояре низко поклонились ему.

В это время, распевая псалмы, навстречу государю вышли архипастыри в полном облачении; впереди всех с крестом в руке выделялся игумен Чудова монастыря, старец Левкий, снискавший особое расположение царя.

Приняв благословение от Левкия, Иван Васильевич, в сопровождении духовенства, направился в покои митрополита Макария. Митрополит принял государя, лежа в постели. После взаимных приветствий царь и митрополит пожелали остаться одни.

– Стар я, государь мой, батюшка... Стар и немощен. Видать, уже и с ложа не подняться мне. И молитва не помогает. Давно жажду повидаться с тобой, батюшка Иван Васильевич. И

лекари твои не помогли... Видать, Господу Богу угодно прибрать меня... Пожил я... устал... Прощай! Совесть моя спокойна. Молитвою послужил родине. Не страшусь предстать пред Все-вышним.

Иван Васильевич сел около митрополита, участливо посмотрел в его исхудалое, морщинистое лицо.

– Многоценная жизнь твоя, – тихо произнес он, – во благо царю и всей земли нашей! Твоя паства, как цветы от солнечного обогрева, растет и множится. И счастье и страдания твои меркнут перед тем, что содеяно тобою. А мои дела ничтожны перед теми страданиями, что выпали на мою долю. Сделанное вчера сегодня разрушается, и кем? Моими же людьми. Что сделаю завтра – не могу верить в незыблемость того. Твои дела всем видны и никогда не забудутся!.. Своими писаниями ты говоришь с веками.

Царь встал, прошелся из угла в угол по келье. В глазах его – тревога, подозрительность.

– Ангелы восхваляют имя твое, ты добр и милостив. Ради тебя, святой отец, снял я опалу с бояр... Простил Ивана Кубенского, князя Петра Шуйского, князя Александра Горбатого, Федора Воронцова, Димитрия Палецкого и других. Их было немало. Простил я и Семена и его сына Никиту, то бишь князей Лобановых-Ростовских. Оба они были пойманы на явной измене. Я по слову твоему помиловал их.

– Помню, Иван Васильевич, помню, родной наш государь... Бог спасет тебя, батюшка!

– Увы, отец мой! Ведомо мне – князи те тайно сносятся и ныне с Литвою. Готовят гибель мне и посармление нашему царству...

– Слышал я и такое, Иван Васильевич... Правда ли? Не изветы ли их врагов?

Царь задумался. Видно было, как подергивается его плечо. Митрополит знал, что это обозначает сильнейшее волнение у царя.

– Клеветники есть... Проклятие им! Запутали. Ни один владыка не уберется от увития сих ядовитых змей... Где сила, власть – там и клеветники! Не раз пытались они оклеветать и тебя, но я оттолкнул их от себя, жестоко наказал... И трудно, святой отец, отделить клевету от правды. Этим многие пользуются. Но могу ли я быть глухим к доказчикам? Что ты скажешь мне, святой отец, о дворянине Скуратове-Бельском, о Малюте?

Макарий слабо улыбнулся и тихо проговорил:

– Знаю я его... Мой богомолец. Благословил я его на службу тебе, государь... Упрям он, жесток, но предан тебе.

– То и я мыслю. За воинское дородство приблизил я его к себе. Он – недруг мятежникам, правду молвил, преосвященный отец наш.

– Сила Святого Духа буди над вами!.. Пришли, государь, его ко мне ради смертного моего поучения. Блажен муж, еже печется о своем отечестве. Смягчить его сердце хотел бы я перед кончиною.

– Скажи мне, святитель, не есть ли грех в том, что восхотел я на службу свою царскую посадить чужеземца, латинской веры, душегуба морского, дацкого разбойника, коему поручить задумал я бережение наших судов в Западном море?

– Трудями чужеземцев не гнушались... древние пророки и цари. Вспомним Давида и Иисуса Навина... И да благословен будет путь твоих кораблей, ибо, то ко благу нашего царства.

Оба перекрестились.

– Друкарей<sup>12</sup> и рухлядь всякую словолитную из-за моря умыслил я к нам вызволить. А в душе для чужеземцев я и сам чужеземец. Опора нам – свои, русские люди.

Митрополит через силу приподнял голову с подушки. Пристально остановил на лице царя свои впавшие от худобы глаза. Задышающимся, больным, старческим голосом тихо, с остановками рассказал: первопечатник Иван Федоров заканчивает «Апостол», но чем ближе

---

<sup>12</sup> Печатник, типографщик.

к концу его работа, тем больше врагов становится у Печатного двора. Уже не раз пытались неведомые люди поджечь его. И на Федорова было ночное нападение подле Неглинки-реки.

Выслушав до конца жалобы Макария, царь гневно произнес:

– Крамола и здесь!.. Злодеи не ведают, что творят. В угоду то и зарубежным врагам. Не от разделения ли и несогласия, не от гордости ли и самочиния распалось Израильское царство? Коли поймаем поджигателей, медведями я затравлю их.

Он с горечью поведал митрополиту о кознях своих врагов: не идут в открытую, а действуют исподтишка, подпольно, пуская в ход обман, лесть, лицемерие. И сила их велика. По городу и государству ходят всякие слухи, суды и пересуды о войне. Иван Васильевич вспомнил митрополита Даниила. Во времена княжения Ивана Третьего Даниил жестоко осуждал «завистателей, завистников, наругателей и клеветников».

«Какую хочешь милость приобрести, – говорил Даниил, – иже зря неких в течение жития сего настоящего осуждаешь, клеветещь и поносишь и других на это наводишь, яко лукавый бес?»

С негодованием передал царь митрополиту гадкие сплетни о нем самом; о том, будто он, царь, предается содомскому греху с Федором Басмановым. О царице также всякую небылицу болтают враги царского дома. А ему, царю, ведомо: сплетники те из знатных, древних родов, и он, царь, признается – трудно ему бороться с клеветниками. Тайный враг страшнее явного.

Митрополит, слабо улыбувшись, сказал: и про него непотребное болтают люди, предадут хуле и его, святителя. Даже в глаза ему говорили, будто он не митрополит, не святитель, Богом избранный, а царский холоп, бесчестный угодник и ласкатель. И «Степенную книгу» написал будто бы несправедливо, возведя на незаслуженную степень родословную Ивана Васильевича; и святых канонизировал в угоду московскому великому князю; Александра Невского якобы причислил к лику святых единственно ради того, что он предок Ивана Васильевича, како и великие князья московские; и печатное дело завел в угоду царю, «хотящему властвовать едиными печатными законами повсеместно и единым молением во всех селах и городах по его, царским, печатным богослужебным книгам...»

Великое, доброе дело ставится ему, Макарию, в укор!

Иван Васильевич слушал митрополита, гневно сдвинув брови, дрожа от негодования.

Он ясно представляет себе, какая угроза нависла над всеми его делами... А по лицу его ближайшего помощника и друга – митрополита – видно, что недолго осталось ему жить. Смерть стоит за его плечами.

– Нет, нет! – как бы про себя сказал царь и, обратившись к Макарию, произнес: – Новый лекарь объявился у меня знатный... Немчин из Голландии, Елисей Бомелий... Пришлю к тебе... Ты должен жить. Не покидай меня. Не умирай!

Иван Васильевич вдруг стал на колени, припав губами к холодной, морщинистой руке митрополита.

И, как бы спохватившись, добавил:

– Благослови!

Порывисто склонил голову.

Макарий, застонав, снова приподнялся и трясущейся рукой, со слезами на глазах, перекрестил Ивана Васильевича. Царь взял худую, морщинистую руку митрополита и крепко прижал ее к своим губам...

Вышел царь от митрополита гневный, мрачный Бояре, рынды, монахи в страхе склонили свои головы перед ним.

Накануне отъезда в Дерпт Курбский собрал у себя своих друзей. За столом, уставленным кувшинами браги и меда, разгорелись горячие споры, перешедшие в пререкания.

Курбский много говорил о тихости и покорливости бояр, напуганных казнями, упрекал своих друзей в бездеятельности. Он осуждал упорное молчание Боярской думы, по его мнению, бездеятельной.

Казначей, боярин Фуников, попробовал возражать Курбскому:

– Не порочь нашей Думы, князь, не виновна она. Коли тиран изведет крови, то уж его так и тянет к ней... Его не остановишь! Дума в загоне!

Презрительно сощуривав глаза, выслушал его Курбский и вдруг сердито крикнул:

– Умолкни, боярин! Легче мне было бы язвы сносить в ушах своих, нежели слышать такие речи. Дума в загоне! Побойся Бога.

Сутулый, рыжий, с блестящей от масла, расчесанной на пробор головой, Фуников имел жалкий, пришибленный вид. Гнев Курбского устранил его. Да и остальные бояре и воеводы притихли, с робостью поглядывая на князя.

– Кровь за кровь – вот мой закон. Вы забыли, что лишил он князей власти, земли, чести, принизил древние, освященные церковью и ратной славой княжеские роды... Он вам головы рубит, а вы по старому, мудрому обычаю и отъехать из государства не можете!.. И уж от Думы отречаетесь! Не так ли говорю я?

Лицо Курбского исказилось злобою, сделалось страшным.

Тяжело переводя дыхание, он продолжал:

– Он изведет кровь... А когда же мы изведем его крови? Вы, князья, бояре, воеводы! Пошто вы держите меч в ножнах? Было время, когда вся сила ратная воевала лифляндские земли, а царь перекопский шел к Москве. Вы упустили то время, а ныне плачете. Плачьте же! Пропливайте слезы о том, чего не вернешь!

– Обожди, князь, дай мне слово молвить, – замахал на него обеими руками старик, архиепископ новгородский Пимен, только что прибывший из Новгорода якобы для того, чтобы навестить болящего митрополита Макария.

– Говори, – кивнул ему Курбский, продолжая стоять, тяжело дыша и окидывая всех недобрый взглядом.

– Новгородские священнослужители, воинские люди, торговые гости, дьяки, подьячие и весь наш народ крепко стоят на своем... Не нужен им московский царь!.. Не признаем мы его... Не худо было бы московским вельможам придерживаться батюшки Великого Новгорода, а не вилять хвостом туда и сюда. Кто древнее: мы или Москва?

Лицо Курбского просветлело.

– Истинно молвил, преподобный отец! Нам, князьям, боярам и всем московским служилым людям, прибыльнее стать на дороге тирану заедино... плотную стеною, но не помогать ему душить древний Новгород. Москва – неразумное дитя перед Новгородом.

Архиепископ Пимен шепнул соседям, будто новгородские торговые люди уже ведут тайный сговор с литовским королем, чтобы ему отдать Новгород и Псков. И то будет на пользу Русской земле и во вред царю Ивану.

Курбский назвал имя некоего Козлова. Хвалил его за расторопность; он-де ловко обманул царя Ивана, будучи посланным к королю Сигизмунду, – остался у короля на службе. Ныне этот Козлов ищет друзей среди московской знати. А чтоб иметь связь с ним, надобно незаметно ни для кого сходиться у давнишнего друга его, Курбского, у Ивана Мошнинского, что живет под Москвою в селе Крылатском.

Гнев Курбского после слов архиепископа Пимена смягчился. Пимен сразу раскрыл главную тайну сегодняшнего сборища.

– Буде хныкать, – строго произнес Курбский. – Пора и за дело взяться. Лихое лихому, а доброе доброму... Доколе жив великий князь и его пагубные ласкатели, – жизнь родовитых князей и их семей в опасности. Положим сему конец!.. Уезжаю я в Дерпт, а вы не теряйте времени... сжимайте кольцо ненависти своей вокруг московского князя и его двора... Из Лифлян-

дии явлюсь я к вам со всею своею ратью. Помните: митрополит Макарий на смертном одре... Схороним же вместе с ним и царскую корону. Новгород изберите своим родным гнездом. Кого же нам поставить во главе сего святого заговора?

Раздались голоса:

– Князя Владимира Андреевича! Кого же иного?

Курбский поморщился:

– Добрый он человек, да несмел, робок... и не надежен... Не тверд он!

С удивлением взглянули на него бояре.

– Не надежен? – воскликнуло несколько голосов.

– М-да... – раздумчиво повторил Курбский. – Не надежен. Я так думаю: у сего дела должен стать достойнейший из всех нас, боярин Иван Петрович Челяднин-Федоров...

Курбского поддержало несколько голосов.

Сам Челяднин, грузный высокий боярин, погладил свою широкую бороду, задумался, храня молчание, хотя к нему были обращены взгляды всех присутствующих.

– Иван Петрович, друг, отзовись! – толкнул его в бок боярин Бельский.

Очнувшись от раздумья, Челяднин тяжело вздохнул.

– Ненадежный народ ныне появился и среди бояр... Эх-эх-эх! Дожили! Сами на себя ножи точим. Как людям верить-то? Около святых и то черти водятся. Так и во Святом Писании свидетельствовано.

– Мы все поклянемся тебе в верности! – сказал Курбский. – Не так ли? Клянемся?!

Со всех сторон понеслись голоса: «Клянемся! Слово перед святым крестом дадим! Клянемся, батюшка Иван Петрович!»

– Мне жизни своей не жаль. Пожил ни много ни мало шесть десятков лет с небольшим, можно и в домовину. И не о том я... Дороже жизни мне честь! Иван Васильевич не обижает меня, честит, жалует: обижаться на него не могу. Однако продавать себя царю не желаю. Прав Андрей Михайлович – недалеко то время, когда все у нас возьмут...

– И жизнь отымут! – крикнул Курбский.

– И жизнь отымут, как отымают наши наследственные уделы... Кто такую власть дал московским великим князьям, чтобы в грязь топтать княжеские роды? Никто не давал. Разбойным промыслом завладели!

– Истинно! Похитили они власть обманом и коварством, – снова подал свой голос Курбский.

– Верно ты молвил, Андрей Михайлович, безмолвствует Боярская дума, не к месту, не ко времени притихла... Растет и множится своеволие Ивана Васильевича... Не в меру разошелся царек. На што нам война? Што нам море? Буде, побаловали. Што накрошил, то сам и выхлебывай!..

– Золотые слова, князь! – воскликнул с усмешкой Фуников.

Челяднин обвел хмурым взглядом окружающих.

– Первым боярином и судьей посадил меня царь на Москве, но што я буду делать, коли не лежит у меня душа к похитителю нашего державства?.. Все, што делает он, не по душе мне...

Курбский оживился, голос его прозвучал восторженно:

– Мудрое слово сказал: «державство»! Мы на Руси должны править, наша держава! Мы князья, мы большие воеводы, бояре, а ни земли, ни рати, ни судов своих не имеем... Нашего ничего нет. Все его! Законно ли так? Справедливо ли? И меня он недавно лобзал, обнимал. Иудины ласки! Сладкими речами обволакивал он меня... Добивался измены старине. Не поддался я тому соблазну... Нет!

– Обманщик он! – рявкнул Челяднин. – Сегодня поставит первым воеводою, а завтра казнит!.. Подальше от его добродетели.

– Проклятие! – слышалось со всех сторон.

Глаза у всех разгорелись, волнение охватило даже спокойного, покладистого Фуникова. Репнин, топнув ногой, крикнул в исступлении:

– Перекопского хана позвать. Выдать хану кровопивца. Смерть убивцу!

Курбский зашикал на него:

– Тише, не шуми, дядя Михаил! Хан будет!.. В Москву придет... Тише! Литовские люди мне весточку передали через Колымета Ваню. Хан давно ножи на Ивана точит.

Сразу настала тишина. Испуг появился в глазах некоторых бояр. Страшились московские вельможи татарских набегов. Татары обращали в пепел и боярские вотчины, делали нищими богатых, а то и жен и детей в полон уводили.

– Ладно ли будет так-то?.. – покачав головою, возразил Челяднин. – Не прогадать бы?

Курбский внимательно осмотрел своих гостей. Остановив взгляд на архиепископе Пимене, спросил его:

– Преподобный отец, благословишь ли на то дело?

– Нет. Негоже то. Единоборство с христианскими князьями, коли к тому нужда явится, в честном бою не зазорно, а шток неверных татар, язычников наводить на своих же – не могу то дело благословить, князь!

Воцарилось тяжелое, неловкое молчание. Курбский не ожидал такого ответа от новгородского владыки. Ведь он думал, что Пимен его поддержит.

– То же думаю и я... Наводить нехристей на Русь – грешно и бессовестно!.. Надо нам подумать, нельзя ли без чужеземцев согнать с престола Ивашку, заковать его в железа и отправить в заточение? Мы против царя, но не против Руси! На вечные времена заточить!.. – поддакнул Фуников.

Курбский покачал головою:

– Нет. Не мыслю о боярской смелости, коль помощи от короля не будет... Сила царя велика, он окружил себя собаками, кои обнюхивают каждого честного человека... Бояре не дружны, о том говорил я... своей силы нет у нас. Без короля не сломить нам тирана... Не сломить! Он хитер и решителен.

Курбский пренебрежительно махнул рукой:

– Куда нам! Только король, вместе с... ханом!

Понурился, в раздумье, слушали его бояре.

Поднялся со скамьи Челяднин.

– Что там спорить? Добро! Принимаю на себя... Клянусь вам, братья, честно послужить родному делу.

Низко поклонившись, Челяднин снова сел.

Курбский мягко, на носках, подошел к нему, крепко обнял его и поцеловал.

– Господь Бог видит правду... Вседержитель на нашей стороне. Велика его святая воля.

И, обратившись к боярам, сказал:

– А мы разве не сила? Поглядите: кто здесь! Вот Михаил Воротынский. Муж крепкий, мужественный, в полкоустроениях зело искусный. Народ его любит. Что воздал ему за службу царь? Ссылку!.. Опалу, неведомо за што, неведомо про што... О, князь! Слезы проливали ратные люди, когда услышали о таковой несправедливости...

Воротынский улыбнулся, вздохнул и тихо промолвил:

– Ну что же! Бог ему судья! Забудем об этом. А как мы с Владимиром Андреевичем? Чью сторону он примет? Ты, князь Андрей, знаешь ли?

– Нашу! – с твердою уверенностью произнес Курбский. – Был я у него. Когда все пойдут – и он пойдет...

– Правильно молвил князь... Нашу, нашу! – подтвердил Мстиславский. – Тоскует и он.

– Эх-эх, друзья, а как жить-то хочется! Глянем на мир – все движется, все радуется; в Польше у вельмож – праздники изо дня в день, а у нас? – покачал головою Курбский.

– А у нас – покойнички. Синодиками об убиенных все монастыри засыпали... – громко произнес архиепископ Пимен. – Что ни день, то список...

– Душа русская пустынею стала, по которой бродит лев рыкающий... скучает о крови... – подал свой голос молчавший угрюмо князь Михаил Репнин, свирепый, ошетилившийся вид которого привел в ужас сидевшего рядом с ним Фуникова.

– Коли ты уедешь, князь, как мы будем тут знать о тебе и ты о нас?.. Кого мы изберем из малых людей, штоб гонцами нашими быть и вести к нам и до тебя доносить? – спросил Челяднин Курбского.

– С Висковатым сговоритесь... Пускай гоняет по посольским делам Гаврилу Кайсарова да Колымета, а я буду засылать своего стрелецкого десятника Меркурия Невклюдова... То люди верные, надежные.

– В которое время ожидать нам весточку о твоём докончателном сговоре с королем? – продолжал задавать Курбскому вопросы Челяднин.

Все с настороженным вниманием прислушивались к ответам Курбского.

– Скоро... не пройдет и сорока дней от кончины митрополита Макария, как прискачет к вам гонец с моим словом... Во Пскове стану я твердой ногой...

– Псковичи и новгородцы с тобою, князь, в огонь и воду! – торжественно заявил Пимен. – Однако и Москве надобно помене думать о земном благоденствии, о чревоугодии и месте близ трона. О душе подумайте, московские бояре, не пощадите себя во имя правды! Вот мой сказ.

– Передай, преподобный отец, новгородцам и псковичам: будем добиваться правды, не жалея себя и детей своих, – ответил Пимену Челяднин. – Всюду будет наша рука: и в приказах и в воеводствах... Увянут в ней законы великого князя... Все пойдет наперекор ему. А коли он и в самом деле поведет в Лифляндскую землю войско, схватим его там и отдадим королевским людям.

– Этого подарочка – увы! – давно ждет король. Он сумеет отблагодарить вас за это... – усмехнулся Курбский. – Иван Васильевич и мне говорил, будто сам собирается идти на войну в ливонские земли... море отвоевывать... Море! Ему нужно море, и во имя сего проливает он моря крови!..

– Морского разбойника себе в товарищи взял...

– Васька Грязной приволок супостата.

– Схожая братия...

– Вору и слава воровская!

– Корабли водить будет в аглицкую землю.

– Порешить бы и его! – промычал Репнин. – Найти бы такого молодца, штоб придушил его где-нибудь...

– Колымет его знает... Пускай подговорить кого-нибудь... Отравить бы хорошо, – сказал Курбский. – Море королю – нам суша. Хватит нам своей воды. Через короля мы со всеми царствами сойдемся и по суху... Будешь жить в мире с соседями, весь свет объедешь и со всеми дружбу заведешь: с аглицкими, и с дацкими, и с немецкими людьми, и с франками... без моря!

– Да будет так! – оживился Пимен. – Без своих морей новгородцы весь свет объехали, и везде нас знают и любят и золотом платят за наши товары... Москве, сколь ни прыгай, не перепрыгнуть Новгорода-батюшки... Не посрамить древности!

– Море – бездельная выдумка. Обойдемся и без него.

Сказав это, Челяднин поднялся и, подойдя к Курбскому, обнял его.

– Ну, прощай!.. Храни тебя Бог! Надо расходиться: не подсмотрел бы Малюта со своими поскребцами. Помни, князь, свою клятву... Погибать, так вместе.

– Прощай, добрый боярин, дай Бог нам снова свидеться уже хозяевами на своих землях!

– Дай Бог!

Дьяки Посольского приказа приметили, что царь Иван Васильевич в последнее время стал чаще прежнего собирать их у себя во дворце. Беседы его были теперь какие-то особенные, не похожие на прежние. Раньше начинал он прямо с дела, отдавал приказы, посылал дьяков, диктовал грамоты иноземным государям. Теперь долго молча осматривал каждого дьяка, задавал вопросы, что этот дьяк думает о Жигимонде, о хане крымском, об Эрике, о Фредерике датском. Его интересовало, как смотрят дьяки на Перссона<sup>13</sup> швейского, прославившегося на весь мир своими лютыми казнями, да и что говорят о том на иноземных подворьях.

А к чему это? К чему такие вопросы?

Однажды царь, указав пальцем на изображение своего деда и тяжело вздохнув, сказал:

– Никто не слыхал о больших делах его, но подвиги его – суть деяния истинного властителя; при своей великости они совершались невидимо, а Москва стала видимой всему миру. Разновластие князей, владычество татар, кичливость рода Гедиминова, двурушие Новгорода – все, в тишине, с Божьей помощью, одолел он. Не торопился, но был впереди всех. Державу свою поднял высокою рукою, и мне ли умалить ту высоту? Могу ли я отступить от дедовских дел? Денно и ночью молю Господа Бога, чтобы мне быть достойным хранителем дедовских заветов. Я хочу заставить моих людей держать крестное целование грозно и честно, по старине.

Дьяки притихли, стояли ни живы ни мертвы, боясь пошевелиться. А царь вдруг спросил Ивана Колымета:

– Не слыхал ли ты, что болтают на немецком дворе о недуге митрополита?

Колымет смутился, челюсти его задрожали:

– Нет, великий государь, не пришлось слышать.

– Ну, а как ты? – царь указал на другого Колымета, на Михаила Яковлевича.

– Также не ведаю, батюшка-государь, – едва слышно ответил он.

Иван Васильевич, пристально взглядываясь в их лица, молча покачал головою.

Робость нашла на дьяков. Сегодня утром всей Москве стало известно, что прошлую ночью еще два десятка служилых, боярами ставленных людей брошено в пыточную избу. А ведь люди-то те были друзьями многих посольских дьяков. У Писемского часто бывал Юшка Сомов, бывший адашевский дьяк, мало того, приходилось за ним ухаживать, льстить ему, водкою поить. У Никифора Соловья Кузьма Гвоздев, ближний к Кольчевым, сватом был, в монастырь к Сергию преподобному вместе ездили. Иван и Михаил Колыметы у Сильвестра на побегушках были – его похлебцы, а теперь... Страшно подумать. О, Курбский! Тебе бы тут быть, да посмотреть, да помучиться! На тебе весь служилый люд держался. Тоже и Микита Суцев, первым другом Сильвестра был, а дворянин, оружейник, Нефедов и вовсе полгода толкался на усадьбе у Адашева. Да и мало ли кто у кого бывал и кто с кем виделся? А многие даже и детей крестить считали за счастье с ныне опальными государевыми вельможами. А если, бывало, бражничать кто-нибудь из них позовет, так после этого плевать на всех меньших людей хотелось! Господи, Господи, прости ты нас, грешных! Кто не любит под бочком у вельможи пригреться, да этою близостью повеличаться, да и выгоду из того извлечь?!

Пот выступил на лицах приказных дьяков. А царь все говорит и говорит – и будто не слова, а булыжники на голову сыплются.

Вдруг Иван Васильевич грозно воскликнул:

– Что же вы притихли? Аль не любы вам мои речи?!

Дьяки вздрогнули.

– Любы!.. Любы!.. Любы, пресветлый государь! Любы!.. – нестройно, испуганными головами, наперерыв закричали дьяки, и все как один стали на колени, сделав земные поклоны.

Брови Ивана Васильевича гневно сдвинулись.

<sup>13</sup> Начальник тайной канцелярии при Эрике Шведском.

– Смотрите! Вы думаете, царь простачок и ничего не знает? Ошиблись! Помилосердствуйте. Уделите кроху ума и государю! – Язвительная улыбка мелькнула на лице царя. – Всех переберу, докудова зло не измету! Наш извечный враг король Жигимонд далеко от нас... но я вижу его, собаку, как он бегаёт в ваши подворотни, хвостом вертит и скулит, смущает вас. Мечом не мог одолеть нас – изменою захотел развалить наше царство... Но Бог никогда не забывал Русской земли... Всевышний по вся дни помогал нам, видя скорби наши.

Долго и гневно говорил царь. Изо всех его слов, к которым с жадным любопытством прислушивались дьяки, становилось ясно, что Иван Васильевич задумал великий поход на своих же, на приказных и воинских служилых людей. И у кого была какая-либо тайна, тот холодел от страха, слушая царя.

Юшка Сомов, косоглазый, хитрый адашевский гонец и друг, которому сам Адашев дал кличку «вьюн», решил завтра же оседлать коня, якобы по государевой надобности, на самом же деле, чтобы ускакать в Литву. Там теперь друзей много – скучно не будет!

Оружейник, дворянин Нефедов, давно лелеял мысль скрыться из Москвы вместе со своим верным слугою. Многие дела сотворил Нефедов во зло государю. Известно стало от бежавшего боярина Телятьева, пересылку которого ему передали приезжавшие в Москву польско-литовские люди, что польские паны с радостью примут его; они нуждаются в хороших оружейниках. Да и кое-что мог бы он, Нефедов, поведать королю о слабостях царского оружейного дела и о новшествах, вводимых Иваном Васильевичем в войско.

«Подсеку твою гордыню, батюшка царек, подсеку секирою острою, и ахнуть ты не успеешь!» – злобно думал Нефедов, с умиленной улыбкой кланяясь царю в ноги.

Один из самых приближенных царских дьяков, дворянин Никифор Соловей, тайно доносивший царю на многих бояр, клеветца на честных и обеляя ненадежных, старинный друг озлобленного на царя рода Колычевых, по-собачьи услужливо глядел в глаза царю, выражая всем видом свою готовность привести в исполнение любую меру против неверных бояр.

Царь, видя смирение своих холопов, лежавших у его ног, смягчился:

– Буде я кого из вас обидел, за грехи мои Богу отвечу, за пролитую кровь молиться стану... Неправедной казни избегаю. Да минует и вас змея коварной измены! Да сгинет чудище, коему продали свою душу бежавшие к королю мои холопы! Да растопчет копыто конское их иудино племя, и меч расплаты опустится на их головы! Всеу хлопочут мои неверники, цепляясь за старое. Как старику невозможно вернуть юности, так невозможно и нам с вами воскресить в государстве ушедшее в древность... Развалины прошлого не соблазнят того, кто построил новые чертоги, более светлые, более крепкие, лучше защищенные от ветров и гроз... – сказал царь Иван Васильевич с насмешливой улыбкой. – Токмо безумец может думать о возврате протекшей жизни... Господь Бог дал нам молитвы поминовения, и этот дар принесем в воздаяние праху былой жизни, былых витязей... Бог дал нам многие таланты – и не для того ли даны они нам, чтобы мы добивались лучшего? С Божьей помощью, други, ступим смело по новой дороге в предбудущие времена... Аминь!

Братья Щелкаловы, Андрей и Василий, и многие другие любимцы государя были спокойны, держались просто, не глядели с подобострастием на царя.

Так начался этот день Посольского приказа, день составления грамоты датскому королю Фредерику о том, кому и какими городами и землями владеть у Западного моря.

Было удивительно всем, что Иван Васильевич после такой горячей, взволнованной беседы мог легко перейти к деловым занятиям и спокойно начать разговор об иноземных делах.

Царь приказал дьякам опять и опять напомнить «приятелю и соседу» своему «Фредерику, королю дацкому», что Ливонию он считает своею исконною вотчиной, а если Москва что и берет в Ливонии, то это она берет свое, ей одной принадлежащее. И что московский государь всегда готов быть «союзником и доброхотом Дацкого куролевства».

К тому же он велел написать, что-де «наше царство столь широко и безмерно долго, однакож от всех стран есть заперто к торгованию. От севера нас опоясывает Студеное море и пустые земли. От востока и полудни окружают дивии народы, с которыми никоего торгования быть не может. Торгование азовское и черноморское, кое бы наикорыстнее было, то держат крымцы. И тако нам остаются токмо три от страхов слободна торговица: по суху Новгород и Псков, а на воде Ледовое пристание, но от того выгоды мало, к тому и путь есть неизмерно предалек и трудовен».

Иван Васильевич сказал, прослушав письмо к королю Фредерику:

– На берегах Балтийского моря два прямых государя – я и Фредерик. Свейский Эрик гнется то туда, то сюда. Скудоумен, задорен, непостоянен. Искал союза со мной, а ныне милуется с послами Жигимонда. Союза ищет с ним против Москвы. А кто же ему поверит? Малые робята знают, – спит и видит Эрик, как бы ему вытеснить из Лифляндии Польшу...

Писемский, умный, уважаемый царем дьяк Посольского приказа, побывавший во многих странах Европы, слушая Ивана Васильевича, недоумевал: на что надеется царь? Стоит ли продолжать борьбу за Балтийское море? Три сильные державы пытаются разодрать по частям Ливонию, их полки уже идут вкуче против царя; Польша и Швеция готовы поднять все державы на Москву. Дьяку Писемскому, как бывалому послу, хорошо известно, какое возмущение поднялось во всей Европе при известиях о победах царя Ивана в Ливонии. Тяжелые грозные тучи надвинулись на Русь, а государь словно бы этого и не замечает. Упрямо, без усталости, пробивается на запад.

Ведь уже часть Эстонии захвачена Швецией; остров Эзель стал под покровительство Дании; Лифляндия, вместе с Ригой, добровольно сдана магистрами польско-литовскому королю. Курляндия тоже подпала под его власть. Польское правительство, жадно вцепившись в эти земли, прибегло к хитрости – провозгласило над ними суверенную власть германского императора. Стало быть, и германские князья держат сторону Польши и Литвы.

Что делать? Не помутился ли рассудок у любимого им, Писемским, государя?

Правда, панская власть, отторгнув громадные участки ливонских земель, как будто стала потише. Швеция тоже делает вид, что согласна прекратить распрю с Москвой. Правда, Польша и Швеция при всем том находятся меж собой во враждебных отношениях. Принужденное их содружество зиждется на том, что они никогда не забывают своего соседства с московским царем. Каждая по-своему мешает плавать русским по морю. Свирепствуют их каперы, грабя и уводя в полон московские корабли, да и те, что плывут в Москву, иноземные, тоже.

Оба правительства заявляют, что они не имеют никакой власти над морскими разбойниками, – они будто «сами страдают от них».

В сундуках Посольского приказа есть литовские грамоты, в которых король требует возвращения обратно Ливонии, Феллина, Дерпта, Нарвы и других завоеванных царем городов.

Царь и слышать об этом не желает. Он приглядывается к войне Швеции с Данией и говорит о своем намерении заключить военный союз с Англией. Он смотрит бодро вперед, тогда как бояре и многие дьяки тяжело вздыхают, в горестном раздумье покачивают головами: «Пошло царь залез в эту кашу?» Многие из них тайно уверяют, что Иван Васильевич «в своем пристрастии к дружбе с Англией» завел Россию в тупик, из которого и выхода теперь нет. Челядин вслух сказал однажды: прав-де Курбский, советовавший царю заключить союз с Литвой, отказавшись от Нарвы.

И вот теперь: зачем пишется это послание дацкому королю? Дальше в лес – больше дров.

Царь Иван, как бы угадывая мысли Писемского, хлопнул его по плечу, весело рассмеявшись:

– Грызутся они там из-за нас... Нарвское плавание королю дацкому и Любеку – выгода! Любек торговлишкой обогащается, а дацкий Фредерик пошлиной... Обирает в проливе Зунде купчишек, везущих товары мимо него... Август Саксонский – и тот против Эрика пошел. Не

мешайте-де той торговле... Не чините помехи плывущим в Нарву! Вот почему будем держаться Дании. Мне не Англия и не Дания дороги, – дорога Нарва, наша Нарва!

Царь упрям. Никого не слушает.

Польские и литовские паны тоже упрямы и воинственны. Они не уступят. Они не верят царю. Они опасаются его.

Совсем недавно литовский гетман Хоткевич пытался вторгнуться в пределы Московского государства, однако был наголову разбит Курбским. В начале сего 1563 года большое московское войско, предводимое самим царем, осадило и взяло приступом крепость Полоцк, а передовые русские отряды и вовсе подошли к Вильне, к самой столице Литвы.

Польша поняла, какую силу представляет собой ее сосед.

Эрик Шведский тоже не унимается, хотя вид пытается казать миролюбивый.

Рассердившись на Данию и Любек, а кстати и на Августа Саксонского, он написал германскому императору жалобу на них... В ней он грозил императору, что-де великая опасность для всех христианских государей от торговых сношений ганзейцев с русскими... Он жаловался и на французского и испанского королей, поддерживавших «нарвское плавание». Эти короли тоже требовали свободного плавания по Балтийскому морю.

Обо всем этом знал дьяк Писемский и ничего не ждал хорошего от всеевропейской распри из-за «нарвского плавания».

Того и гляди германский император поднимет крестовый поход против Москвы.

И все рухнет... Вся надежда на торговлю с Нарвой!

При слабом свете лампы низко склонился над листом бумаги седой как лунь протопоп Феофан. По воле болящего митрополита писал он для «Четий-Миней» о том, как семьдесят двух человек русских мирных жителей замучили ливонские немцы.

«Мы скоро преставимся, и аз предвижу свой конец, – говорил Феофану тихим, болезненным голосом Макарий, – но пусть наши дети и внуки знают о мучениях, коим подвергли их предков те злохищные немцы в Юрьеве-городе!..»

А случилось это при великом князе Иване Третьем. Рыцари, обозлившись на священника Исидора, настоятеля церкви святого Николая в русской слободе города Юрьева, набросились на него во время крестного хода, сначала избили его, затем раздели и вместе с женщинами и детьми спустили в день Богоявления под лед, в прорубь. Ни мольбы, ни вопли матерей, ни детский плач – ничто не подействовало на немецких рыцарей...

Кто-то постучал.

Протопоп вздрогнул. Отворил дверь.

Старец Зосима, один из старых друзей его. Теперь он поборник иного толка, исповедует уставы заволжских старцев, нестяжателей.

Помолился Зосима на иконы, поклонился Феофану и с тихой укоризной в голосе молвил:

– Паки и паки молю тебя, старче, не прельщайся славою царского пса!..

Покачал головою протопоп и ответил, тяжело вздохнув:

– Пошто жить, понеже лицо отвернешь от родины своей, в келью уткнешься, якомышь в норе, и света Божьего не видишь?

Зосима, старик с острой седой бородой до пояса, засмеялся, оскалив большие белые зубы:

– Осифлянин, молись, а злых дел берегись! Бог видит, кто куда идет. Вы народ обманываете. Царю угождаете. Но правду от людей утаишь, от Бога нет. Бог один, а живых царей много... Мотри, старче, берегись!.. Бог виноватых найдет!

Феофан нахмурился и, не оборачивая головы к Зосиме, сказал недовольно:

– Полно лаять! Наш Государь есть Богом венчаный помазанник, чтоб править ему, как на то будет воля Господня. Осударь наш батюшка за всех нас страдалец и ответчик, а нам ли судить дела его?

– Государь ваш спал в единую длань не токмо дела земные, но и небесные. Он хочет пригнуть к стопам своим и церковь Божию, а вы, несчастные, в том ему угождаете. Достоин ли то? Покойный старец Вассиан перед кончиной проклял всех вас, осифлян!.. Праведник пророчливеец напророчил гибель царскому роду... Опомнись, протопоп!

Зосима стал говорить о том, что царь лют, несправедлив, что Бог от него отступился и бесы влезли в царские чертоги, что Вассиана, главу заволжских старцев-нестяжателей, почитают такие князья, как Андрей Михайлович Курбский, Челяднин и другие.

– Пошто к лику святителей сопричислили вы усопших князей и мнихов, кои деспоту московскому угодны?.. Пошто восхваляете вы их в своих новописанных лжеучителем Макарием книгах? Пошто иконы угодников иных княжеств похитили и заковали в золото московских иконостасов? Или вы почитаете Москву святее всех городов на Руси?

В сумраке мрачной кельи Зосима, с блестящими глазами, источавшими злобу и ненависть, размахивая длинными сухими руками, выглядел зловещим привидением, явившимся искушать его, Феофана, именно в ту минуту, когда он, выполняя волю своего умирающего наставника и друга митрополита Макария, торопился писать, чтобы успеть...

Протопоп отложил свое писание в сторону и грузно поднялся со скамьи.

– Перестань лаять! – гневно сверкнув глазами, крикнул он. – Еретик! Ступай прочь!

– На-ко тебе! – затрясся в злобном смехе Зосима. – Не любо слушать правду, царская ехидна, ласкатель проклятый!

Схватив свой посох, протопоп с силой ударил им старца Зосиму.

– Вот тебе, василиск адов! Вот тебе. Не мели, чего не след!.. Царь – наш спаситель!

Старец сначала оцепенел от боли и неожиданности, потом и сам замахнулся посохом.

В это время дверь отворилась, и в келью вошли монахи с секирами, сторожа митрополичьего подворья.

– В железа его! – крикнул Феофан, указав на Зосиму. – В темницу!

Дюжие чернецы накинулись на старца, поволокли его вон из кельи на митрополичий дворик.

Здесь уже бодрствовали монастырские кузнецы, черные, косматые. Неторопливо, с шутками и прибаутками, принялись они за работу. Крепко заковали ноги старца в кандалы.

– Проклятие вам! Слуги сатаны! Про-о-кля-а-а-тие!

Протопоп сказал что-то на ухо начальнику стражи, громадного роста пухлощекому монаху с секирой в руке. Тот кивнул головой. Стража на руках понесла отчаянно барахтавшегося старца.

Сквозь крохотное оконце пробиваются слабые лучи дневного света. Они падают на лицо царя Ивана и Марии Темрюковны. Только царская чета да конюший Данилка Чулков находятся здесь, где накануне совершилось замечательное событие: грузинские князья поставили здесь подаренного царице кабардинского коня. Вот он! Черные, прекрасные глаза царицы смотрят с восхищением на живой, подвижный стан, на беспокойно насторожившиеся глаза и уши коня, на его золотистую гриву и шелковую спину. Конь горячо дышит, не стоит спокойно на месте. Он готов вырваться из своего стойла, он никак не может примириться после горных просторов с этой полутемною каморкой конюшни.

Царица слышит – Иван Васильевич дотронулся до нее, тихо зовет ее обратно во дворец, но трудно ей оторвать взгляд от красавца-коня. Ей вспомнились цветущие зеленые долины, убеленные снегами гребни гор, над которыми царят небесные светила и орлы; вспомнились бесстрашные всадники, скачущие над бездонными пропастями, спеша с бранного поля к своим мирным аулам, где их ждут уют и ласка... Ей страстно захотелось и самой, вот теперь, сейчас, как встарь, скакать на коне, скакать навстречу ветру, навстречу солнцу, хочется забыть, что ты – царица, забыть дворец и придворный почет, который утомляет, связывает, обезличивает...

Долой стражу, эту скучную молчаливую толпу телохранителей, которые мало чем отличаются от тюремщиков!.. Душа просит свободы, простора, того, чем пользуется самый последний горный пастух и что недоступно ей, царице, повелительнице!..

– Государыня, очнись!.. – засмеялся Иван Васильевич. – Твой конь... Охрана надежная...

– А коли мой он, государь, – сказала Мария Темрюковна, – так дозвожь мне сесть на него и скакать по государеву двору.

– Может ли то быть? – вскинув брови, в удивлении пожал плечами царь. – Не зазорно ли царице на виду у холопов скакать на коне, подобно казаку либо татарину?

– Стони пока с государева твоего двора всю челядь... Не обижай меня, дозвожь!..

В ее глазах нежная грусть и мольба, и не мог никак государь сдержаться, чтобы вдруг не обнять ее и не облобызать... Потом, вспомнив, что они не одни, что поодаль стоит конюший, он зло поглядел в его сторону, громко крикнув на него: «Пошел, боров! Кликни Федьку Басманова. Чтоб бежал сюда!»

Конюший исчез.

Царские аргамачьи конюшни, где стояли государева седла аргамачи, жеребцы и мерины, находились у Боровицких кремлевских ворот. Здесь же была и «санниковая конюшня», в которой помещались санники, каретные и колымажные возники<sup>14</sup>.

В летнюю пору большую часть коней отводили в Остожье, на государев Остоженный двор; там и гоняли их на богатые травую москворецкие луга под Новодевичьим монастырем, а теперь кони стояли в кремлевских конюшнях.

Иван Васильевич молча любовался своею супругой, ее возбужденным лицом с покрасневшими щеками, горящими восхищенно глазами.

– Ты что, батюшка государь, так на меня смотришь?

– Смелая ты!.. Услада моя... Не приключилось бы беды?

– Полно, государь... С малых лет на конях. Не боюсь коня... ничего не боюсь!.. – Она с задорной усмешкой посмотрела на царя.

Ивану Васильевичу очень нравился неправильный выговор плохо знавшей русский язык царицы Марии. К ней это очень шло.

Вернулся Данилка Чулков с Федором Басмановым.

– Федька! Возьми стрельцов, разгони дворню с государева двора да пошли татар, чтоб коня сего отвели во двор, – приказал царь.

Высокий красивый юноша, Федор Басманов, низко поклонился сначала Ивану Васильевичу, а затем царице и быстро скрылся в дверях конюшни.

– Вот какие у меня молодчики! – тихо сказал царь, кивнув вслед Басманову.

Боярин Фуников и князь Репнин, выйдя из храма Успения и увидев двух дьяков, которые, сгорбившись и растопырив руки, прильнули лицом к ограде государева двора, остановились.

– Пойдем заглянем и мы, – прошептал Фуников.

– Противно!.. Бок о бок с худородными, – недовольно пробурчал Репнин.

– Апосля отплюнемся... – дернул его за рукав Фуников.

– Ну да ладно, – махнул рукой Репнин. – Все одно уж опозорены.

Как и те два дьяка, прильнули и они к ограде и стали вглядываться в щель между досок. Они увидели то, что и во сне им никогда не могло присниться, а если бы и приснилось, то они с испуга начали бы так кричать, что всех бы домашних своих уродами сделали.

А тут и кричать-то нельзя, потому что совсем недалеко у забора стоял сам государь.

– С нами крестная сила! – прошептали оба.

---

<sup>14</sup> Упряжные лошади.

Прямо на них бешено неслась лошадь, а на ней верхом сидела царица. Волосы ее развевались по ветру, глаза сверкали, она громко гикала, размахивая кнутом. На самой короткой, подбитый мехом кафтанец, какой-то рудо-желтый чешуйчатый кушак шамохейский, чоботы турецкие, тоже желтые, бусурманские, и шальвары стеганые бусурманские... Срам!

– Гляди! – зашелестел в ухе Репнина шепот боярина Фуникова. – Ведьма! Настоящая ведьма!

– Бусурманка проклятая, испугала как! – тяжело отдуваясь, проворчал Репнин.

– Гляди, князь... Сам-то ослабил, ровно бес...

– Он и есть бес!.. В преисподней бы им обоим...

– Ой, какой грех! Баба в татарских портках... Петрович, успокой... сердце холодеет.

– Челяднину надобно поведать. Пушай смутит церковную братию.

– Гляди, Михаил Петрович, лошадь совсем загнала... Едва дышит конь...

– Баба кого хошь загонит, особливо такая... Та была хороша, а эта еще лучше!

– Остановилась... Конь весь в мыле... Царь снимает ее... Тьфу ты пропасть! Господи Боже мой! Грех-то какой... в портках...

– Бес не ест, не пьет, а пакости делает... У нас ему простора много...

– Снял. Держит ее на руках... Силища-то какая! Оба смеются... Она, будто не супруга, а девка блудная, сама виснет на нем... Господи, до чего дожили!

– М-да, царек... бодучий!.. Куды тут. Што и говорить: рогом – козел, а родом – осел. Не то еще увидим...

– Ах ты, мать твою!.. Согресишь, ей-Богу!.. Стерва!.. Гляди, и лошадь в морду лбызает... Сперва царя, потом лошадь... Што ж это такое!

Репнин зло рассмеялся:

– Так ему, глупцу, и надо... Одна честь с жеребцом!.. Правильно!

Вдруг позади раздался грубый голос:

– Эй вы, други! Негоже так-то!.. Отойди от ограды!..

Оглянулись – Малюта! «Штоб тебя пиявка ужалила!»

Сидя на коне, Малюта низко поклонился боярам.

– Не узнал... Винюсь! – сказал он с особою, пугавшей всех почтительностью.

Как это не узнать? Боярина сразу по шапке видать. Но разве осмелишься сказать Малюте, что он кривит душой? Князь Михайла Репнин уж на что прямой человек, и тот ничего не нашелся сказать в ответ на Малютины усмешливые слова.

Поклонились бояре и заторопились к своим колымагам, ожидавшим на площади.

А Малюта поскакал к воротам государева двора. Здесь он проверил стражу: все ли на своих местах и хорошо ли «оружны».

Тайным крытым ходом царь и царица проследовали во дворец.

## VII

Василий Грязной стал тяготиться своей супругою Феокистой Ивановной. Теперь, когда он так приближен к царю, когда пирует с ним за одним столом да еще вдобавок попал в большие начальники – сотником на Пушечном дворе, – теперь будто Феокиста Ивановна уже ему и не пара. На все-де свое время! Добро, думал он, что она набожна, строго постничает, пускай целомудренна и покорлива, пускай будет она хотя бы святой праведницей, все одно – не то... не то!.. А главное, никакой любви к ней нет. Прощай! Довольно пожили. В монастырь тебе, голубица, пора, грехи мужнины замаливать.

И людей-то как-то стыдно, что такая простая, обыкновенная женщина – супруга знатного дворянина. Ни слова путного от нее не услышишь, ни ласки бойкой не увидишь, проста, нет в ней и гордости, как у боярынь, и игривости в глазах, чтобы мужу было удовольствие... Ну,

разве можно ее сравнить с боярыней Агриппиной? При великой скромности Агриппина умеет грешить, умеет и замаливать свои грехи. Грех и молитва рядышком живут.

С такими мыслями он поздно вечером подъехал в возке к своему дому. Отдал вожжи конюху, а сам побежал по лесенке к себе в дом.

Дверь отворила, как всегда, Аксинья. В темноте наскоро лобызнул ее, она вздохнула: «Иссушил ты меня!» Ответил шепотом: «Желай по силам, тянись по достаткам. Побаловались, и ладно». Оттолкнул, вошел в прихожую, снял теплый охабень, обругал Ерему-конюха, неожиданно вылезшего из темноты:

– Ты у меня мотри, около девок не блуди! Засеку до смерти.

Ерема удивленно разинул рот – никакого блуда у него и на уме не было. Он просто украдкой дремал в углу.

Помолившись, Грязной нехотя ответил на поклон вышедшей навстречу жены.

– Чего это ты такая румяная?

– Будто всегда я такая, батюшка Василь Григорыч, – смиренно ответила Феоктиста Ивановна.

– То-то и дело, што не всегда, – заметил он, подозрительно оглядывая ее с ног до головы.

– Да што ж это с тобою, государь мой? – готова была расплакаться она.

– Правды хочу, чести, ан этого и не вижу...

Феоктиста Ивановна окончательно растерялась.

– Бог тебе судья, Василь Григорыч!.. Все не так, все не по тебе... Уж, кажись, худшее меня никого и на свете нет...

– Жена! – гневно вытаращив глаза, крикнул Грязной. – Не подобает бабе мужа поучать! Отвечай: пошто детей не рожает? Коли жена склонна ко благому житию, она плодovitа есть, а коли жена подобна сухой смоковнице, стало быть, она неплодна и место ее единственно лишь во святой обители...

Феоктиста Ивановна сидела у стены на скамье, потрясенная словами мужа. Обида была так велика, что она не могла и слова молвить.

– Супружескую тяготу, – продолжал Грязной, видя ее смущение, – я, подобно древнему праведнику, несу с терпением, без роптанья. Коли нет у нас доброй любви с тобой, не согласнее ли тебе удалиться в монастырь, украсившись иноческим саном?

Этого Феоктиста Ивановна не могла стерпеть. Собралась с силами и храбро сказала:

– Наскучила я тебе, так отпусти... уйду... Бог с тобой!.. Живи без меня, как хочешь.

Василий Григорьевич оторопел. Никогда раньше он не слыхивал таких дерзких речей от своей супруги. А теперь она стояла у стены, побледневшая, гневная, непокорная, вызывающе вытянувшись... «Господи помилуй! Что это с ней?» У него вдруг мелькнуло: «Какая, однако, у Феоктисты красивая, высокая грудь!»

– Не испугалась я! – крикнула она громко и дерзко.

Вот тебе и на! Грязной сразу осел. Теперь он был вконец озадачен. Сидел, как пришибленный, стараясь не встречаться взглядом с женой.

«Что с ней? – продолжал он про себя удивляться. – этак она меня и прихлопнуть может... Ночью... Во сне. Моим же мечом, а то и шестопером!»

– Иль тебе приглянулась другая? – с невиданной доселе яростью и злорадством продолжала Феоктиста. – Иль тебе захотелось бросить меня? Ну што ж. Бросай! Я и сама уйду. Не цвету я в твоих хоромах, мучаюсь!

«Ой, ой, ой! – всполошился озадаченный необычным видом жены Василий. – Вот тебе и монастырь! Ах ты, змея подколодная! Ах ты, ведьма! Ишь ты, расходилась».

– Феоктистушка! – начал было он, притворившись ласковым.

– Молчи, слуга сатаны! – пронзительно взвизгнула она.

Ее трудно было узнать. Какой-то новой, чужой показалась она и наблюдавшим за ней через щель в двери дворовым. У Аксиньи-девки мурашки по телу забегали: уж не из-за нее ли ссора?

И вдруг страшный крик огласил дом Грязных. Рыдания вырвались из груди Феоктисты Ивановны. Девушки в страхе убежали, попрятались по углам. Василий вскочил, растерявшийся, испуганный. Он попробовал было подойти к жене, но она его больно пнула ногой.

Грязной, наскоро одевшись, выбежал в сени.

– Эй! Ерема, седлай коня! – зычно гаркнул он.

Коренастый, широкоплечий, с виду вялый, медлительный, стоял перед Иваном Васильевичем Малюта. Разговор шел о Курбском. Царь, получив из Юрьева уведомление о прибытии туда князя Андрея Михайловича, расхваливал князя за его светлый ум и благородство.

– Наши бояре и князи – круглые, как есть, невежды и не только подписом руки крестоцеловальной грамоты не мощны украсить, да и молитвы Господней прочитать не горазды. Честолюбия ради враждуют меж собой, местами считаются, дабы ближе к царю сесть, но не велика слава государя, коли ближние к нему бояре темны и достойны места не в Боярской думе, но подлинно в кротовой норе... Курбский Андрей зело начитан и воинской доблестью украшен с юных лет... Ты, Григорий Лукьяныч, смел, правдив, но кто ты и давно ли тебя царь в свои палаты ввел? Позорящего ничего о князе не говори... и не слушай, что завистники и нечестивцы болтают. Князь – мой друг! Знаю, своенравен он, горд, но царю – верный слуга.

Малюта слушал Ивана Васильевича, глядя исподлобья. Царь не убедил его. Он, Малюта, остается при своем.

– Воля твоя, государь, однако дозвожь и малому слуге твоему иметь суждение смелое, нелицеприятное... Не быв в знатности, не привык я скрывать свои мысли и говорить только такое, что было бы по душе моему государю. Совесть моя не терпит утайки, ибо ближнего места я у трона не ищю и вотчин не добиваюсь...

– Один старец в Троицкой обители сказал мне... – перебил Малюту царь. – М-да... Он сказал мне: «Обрубая сухие сучья на дереве, не посеки самого дерева». Много думал я над теми бесхитростными словами. Не сгубил ли я нужных мне холопов? Мало знаю я своих людей... Бог ведает, не надрубил ли я уж и самого дерева? Страшусь! Знайте меру и вы, чтоб, ради угождения царю, не причинить ему своим усердием зла. Замечаю, Григорий: нашлись у меня и новые слуги, своекорыстнее, чем старые холопы, стали зазнаваться, волю забирать более положенного.

Пристальный взгляд царя не смутил Малюты.

– Твое справедливое упрямство и жесточь расположили мое сердце к тебе. Но и в лютости держись меры. Свирепость палача я могу добыть на деньги, за кусок хлеба, а слугу разумного, христиански-справедливого, не своекорыстного, а единственно блага желающего царю ищю я с давних пор... Ошибусь в тебе, нет ли – увижу в будущих днях. А Курбский служит мне давно. Не он ли разбил магистровых рыцарей под Вейсенштейном и Феллином и взял самого магистра в плен? Не он ли бил под Витебском Литву, огню и мечу предал многие села в Литве? А кто изряднее Курбского наказывал крымцев?!

Малюта продолжал глядеть с недоверием, слушая царя, а когда тот закончил, с гордой настойчивостью, поклонившись, сказал:

– В судьи не гожусь я, государь, но ежели бы Господь Бог и мой земной владыка дали мне власть карающую, осудил бы я того князя Курбского прежде, нежели учинит он зло родной земле.

Иван Васильевич удивленно вскинул бровями. На лбу его собрались морщины, в глазах сверкнуло неудовольствие.

– Опомнись, Малюта!.. Судьей над столь родовитым и доблестным князем может быть только ваш государь, а никто из его холопей. И ты, Лукьяныч, смири норы свой и впредь службою не по чину перед своим царем не красуйся... Зазнайство – наибольшая опасность для холопа.

Царь прошелся по палате и на ходу сказал, как будто разговаривая сам с собою:

– Герцог швейский Иоганн растерзал раскаленными клещами швейского наместника в Гельмете Ягана Арца. Якобы Ари тайно служил мне, изменил герцогу. А я и не знал никогда того человека и дел никоих не имел с ним! Зря того Арца сгубили!

Малюта опустился перед царем на одно колено.

– Прости, государь! Видит Бог – не ради себялюбия, но ради пользы царства твоего говорю я. Царская милость, на лукавстве раба возросшая, столь же непрочна, как бы тяжелый камень на тонкую дратву положенный. Лукавство в единый миг может раскрыться перед очами государя. Мое слово государю я вражеской кровью омываю. В другой раз прошу прощения, коли не по чину слово молвил. Но верь, государь, пощады твоим недругам от меня никогда не будет, кто бы они ни были.

Иван Васильевич улыбнулся.

– Встань! Впредь не досаждай мне докучливыми извещениями... Недостойно то седеющий бороды твоей.

После беседы с Малютой, войдя в покои царицы, Иван Васильевич устало опустился в большое обитое узорчатым шелком кресло.

Царица Мария, с распущенными до пояса черными косами, сидела за прялкой в шелковом розовом сарафане, плотно облегавшем ее стройный величавый стан. Она быстро поднялась и низко поклонилась царю.

– Вспомнил меня, государь? Бог спасет тебя!

Иван Васильевич улыбнулся.

– Добро! Ты гневаешься? Молви ж, чего ты хочешь от царя.

Мария Темрюковна замялась, с трудом подыскивая нужное слово. Она не знала многих русских слов, хотя ее каждодневно учили русскому языку двое посольских дьяков.

Иван Васильевич порывисто встал с кресла и нежно обнял жену.

– Царица! – тихо сказал он, прильнув к ее теплой, пахнущей розовым маслом шее. – Поехать бы нам с тобой с Божьего благословенья к твоим родичам, в горы, к теплому морю... Крепость я приказал поставить там, чтобы защищать горскую землю от турок и крымского хана. Та земля отныне будет наша. Твоих братьев Темрюков поставлю начальниками над войском... Там светить нам будет горное солнце, там теплые ветры обласкают мою душу. Я стану сильнее и оттуда учну править моей землей. Мария, найду ли я там верных людей?

Лицо Марии Темрюковны осветилось восторгом; она указала рукой на большой серебряный отцовский кинжал, украшавший стену над ее постелью.

– Заколи меня, буде неправду говорю. Там...

И торопливо, взволнованным голосом, она, подыскивая русские слова, мешая их с горскими, стала рассказывать, как прекрасна ее страна, какой честный и храбрый народ там, как хорошо им будет обоим; там живут ее родители; их дворец будет достигаем только для облаков и горных орлов; в темнеющих небесах царь увидит, как рождаются беспечные звезды, о которых в горах поют песни, называя их «цветами любви». Там не надо никого казнить, а надо любить. Он, царь, в золотом дворце на вершине горы будет петь свои любимые стихиры, играть на своих любимых гусях, а она, царица, будет слушать его. А по утрам на гранитной скале она будет возносить молитвы Всевышнему о продлении царю жизни на долгие годы...

Иван Васильевич с грустной улыбкой слушал горячие, торопливые слова жены. Он усадил ее рядом с собой и, прижавшись щекой к ее голове, жадно впитывал в себя каждое ее слово.

– Здесь горе, обида, измена... Плохо здесь!

Слово «измена» Мария Темрюковна сказала с особым ударением.

– Там мой отец, мои братья, мой народ... Ой, ой, заколют изменников они и бросят вниз... глубоко... туда... в пропасть... Там острые камни... Острые! Горный поток унесет изменников...

Царь нежно поцеловал ее.

– Гоже слушать тебя, моя царица!

Поднявшись, Иван Васильевич тяжело вздохнул.

– Ты вздыхаешь? Тебе скушно... Анастасия!.. Опять? – спросила царица, змейкой обви-  
лась вокруг мужа, в черных глазах – жгучий блеск ревности.

– Не о том мои думы... Еще двое бояр да с ними дьяки тайно из Москвы отъехали... Послал вдогонку Суровцева с казаками, и те все скрылись: «не хотим-де мы служить царю Ивану и по той же дороге к польскому королю уйдем!» Леснику они то сказали. Пытали мы лесника, а он поклялся, будто ничего, опричь тех слов, не слыхивал от Суровцева... Кому верить? Малюта говорит: никому не надо верить! И Курбского он оговаривает... Курбского!..

– Что я знаю? Не знаю никого... Никто мне не люб, батюшка государь!.. Уедем в горы, к отцу!

Иван Васильевич горько усмехнулся:

– Что же будет с моим царством, с Москвой, коли и царь утечет? Каков бы жребий мой ни был – нет мне дороги на сторону! Терпеть до конца – мой удел.

Мария Темрюковна нахмурилась; на переносице обозначились черточки недовольства, глаза ее метнули строгий взгляд в сторону царя.

– Они убьют тебя... отравят...

– Что Бог даст... Мария, но мне ли Москву бросить? А Русь? Большая она. Многоязыч-  
ная. Беспокойная. О Русь!..

После недолгого молчания добавил:

– И молодая... и еще глупая!.. Вчера, – сказывали пристава, – девки бесстыдно оголились и дацким послам срамные места казали... Пристава захватили их, пытали. Пошло срамились перед чужеземцами? А они ответили: «Што, мол, за диковина? Пушай смотрят нехристи, а в другой раз не поедут к нам...» Послы своему королю расскажут, а я мню союз с ним учинить... Велел я девок тех в пыточную избу забрать да батожем посечь, чтобы государеву землю не соромили. С дацкими послами о море крестоцеловальную грамоту хочу вчинить, а они кажут... Море надобно, пойми, государыня!.. Дацкий король воует со свейским. Стало быть, мне с ним в дружбе быть. Подобно польскому и свейскому королям, настало и мне время своего корсара пустить в море. Хочу в мире жить с дацкими людьми. Вникни, государыня. С востока мы, с запада Фредерик свейских каперов учнет теснить... да и королевских тоже...

Мария Темрюковна еще крепче обняла его.

Иван Васильевич отстранил ее руки, продолжая говорить как бы про себя:

– В тисках был я с малых лет... Не волен я и ныне в себе. Да и жить не умею... Что есть жизнь – не ведаю. Править царством учусь... А ныне вот и митрополит занемог... Церковь осиротеет. По ночам, во сне, я вижу, как на меня смотрит множество глаз... Темно... Ночь... Вы все спите... А я отгоняю от себя эти глаза... За ними тьма... Русь! Меня зовет земля!.. Что боярину можно, то негоже царю... Страшно, Мария!

Иван Васильевич схватился за голову.

– Нет!.. Прости, Господи! Не ропшу я... Макарий умирает!.. Брат Юрий преставился. Кругом покойники. Помолимся, Мария.

Оба опустились на колени.

– Спаси нас!.. – едва слышно прошептал царь. Молодое, мужественное лицо его вдруг покрылось морщинами, постарело...

Своей рукой он сжал руку стоявшей с ним рядом царицы.  
– Ой! – съежилась она. – Рука – лед!..  
Злая улыбка скользнула по губам царя.  
– Бойтесь меня, – прошептал он.

## VIII

Наливки – ранее глухой, безлюдный уголок Москвы – в последние два-три года стали совсем уже не таким глухим уголком, как в былое время. Правда, эта часть яузского побережья все еще была густо покрыта деревьями и кустарниками, но уже повсюду в чаще протянулись частоколы да изгороди, и стоило углубиться подальше в рощу, как можно было увидеть не одну и не две затейливые новостройки.

Здесь же находился и обширный постоялый двор, воздвигнутый датскими купцами для приезжавших из Дании в Москву торговых людей. С тех пор как Нарва стала вновь русской, в Наливках одно за другим вырастали иноземные подворья. Оттого и окрестили эту местность – Иноземная слобода.

В «дацкой избе» проживал приставленный к датчанам дьяк-толмач Илья Гусев.

Гусев чувствовал себя в этом доме полным хозяином и принимал гостеприимно, толсто-трапезно приезжавших из разных слобод иноземных и своих, московских, друзей. Питейная услуга привлекала сюда людей различных вер и национальностей.

Место тихое, невидное, занесенное снегом так, что и самая изба давала о себе знать только крышею с трубой да выглядывавшими из сугробов слюдяными оконцами. Кому из начальства была бы охота сюда забиваться? Никто никогда сюда и не заглядывал, кроме гусевских приятелей-питух.

Гусев бывал в Пруссии и Дании, целый год прожил в Копенгагене и научился говорить по-датски и по-немецки. В Посольском приказе значился как «муж государственный, ко многому зело способный, но в хмельном неустойчивый и по этой причине к посольской работе не всегда пригодный».

Гусев и сам не расположен был к исполнению более важных дипломатических поручений. Лучше того места, на котором он теперь находился, ему трудно было и придумать. Забыли? Ну и слава Богу, что забыли! К лучшему! Время-то какое. Тише едешь – дальше будешь.

Среди его друзей было несколько немцев: вестфалец Генрих Штаден, уроженец Померании Альберт Шлихтинг, толмач, немецкий юрист, богослов Каспар Виттенберг, купец Генрих Штальбрудер и поступившие на службу к царю ливонские немцы Иоганн Таубе и Эларт Крузе. Все эти немцы любили посещать «дацкую избу», в которой постоянно бывали и голландцы, друзья московского купца Степана Твердикова. Всех их тянуло сюда хлебосолье Гусева и возможность вести веселую беседу с москвитями на своем родном языке. Много ли таких-то в Москве?

В этот вьюжный, обильный снегопадом день в «дацкую избу» забрели Таубе, Крузе, Штаден и другие немцы. Закутанные в меховые плащи, в сапогах из меха, они грузно ввалились в переднюю горницу гусевского жилища, обдав вышедшего им навстречу дьяка Гусева холодом и мокрым снегом.

Сняв с себя меховые кафтаны, выданные им из царевой казны, немцы бурно приветствовали гостеприимного дьяка. Низкорослый, простоватый на вид, с реденькой бородкой, он напоминал простодушно улыбавшегося русского мужичка, еще не старого, пухлого, румяного. Неторопливо, отвешивая до пояса поклоны, приветствовал гостей на немецком языке.

В следующей горнице немцы увидели стоявшего у стены до уродливости высокого, хмуру, исподлобья глянувшего на них иностранца. О том, что он иностранец, нетрудно было

догадаться по его одежде и по выбритому лицу. Его большая с львиной гривой голова почти касалась потолка, ноги были упруго расставлены, а руки заложены за спину. Создавалось впечатление, будто бы этот великан поддерживает своею головою потолок.

Немцы с особым уважением поклонились ему, ибо что может быть в их глазах почетнее силы?! Сильный всегда выигрывает. Штаден и его друзья были в этом твердо убеждены.

Гусев познакомил великана-иностранца с немцами, назвав его «украшением западных и северных морей, славным атаманом Керстеном Роде». Хитро улыбаясь, дьяк следил за выражением лиц у своих гостей.

Он знал, как ревнивы были немцы к иностранцам, приехавшим в Москву из других западных стран. Немецкие купцы с особым усердием старались склонить своего императора на союз с московским царем.

Гусев указал каждому из них место за столом.

Появилось и вино – два больших кувшина, – а к нему мясо, рыба и другие кушанья. Все это приносил стрелец, карауливший датскую избу.

Висковатый и дьяк Андрей Васильев, ведавшие Посольским приказом, не жалели денег на угощение чужестранцев в «дацкой избе», поскольку Илья Гусев кое-что выведывал у хмельных своих гостей и доносил о том Посольскому приказу. На днях Гусев извлек из кармана пьяного немца Сенг Вейта письмо в Вену, к императору, а в том письме было сказано, что «около одной деревни есть соляные варницы, у города, „Новая Россия“ называемого: недалече же от того места соленое озеро находится и оттуда весьма довольно твердой соли достают и варят, так что россияне и малейшего недостатка в соли не имеют. Есть еще и другие соляные заводы недалече от Нова-города. Мнение о том, что в сих местах соли нет, – несправедливое, и через Нарву можно было бы ее во множестве вывозить, о чем и докладываю вашему величеству».

За доставку этого письма Посольскому приказу Висковатый передал Гусеву цареву благодарность...

Гусев стал усердно угощать немцев и Керстена Роде, наливая до краев объемистые чарки и подвигая каждому блюда с едою. Сам он закусывал только хлебом да чесноком по случаю рождественского поста.

Генрих Штальбрудер подтрунивал над постничеством Гусева. Вздумал было высмеять поклонение иконам, сославшись на пятую главу «Второзакония» и на послание Павла к коринфянам о том, чтобы люди «не делали себе кумиров». Однако Виттенберг его остановил, сказав, что каждому человеку дорога вера его отцов и смеяться над иконами не велика доблесть.

Сам дьяк хранил полное молчание, не выдавая своего гнева. Посольская работа приучила его скрывать свои истинные мысли и чувства. Этим искусством он вполне владел.

Вестфалец, шустрый, молодой Генрих Штаден, заговорил о жестокостях, творимых вторгнувшимися в Лифляндию финнами. На его глазах они казнили обвиненного в измене графа Иоганна Арца, шведского наместника в Гельмете. Палачи растерзали его раскаленными докрасна щипцами.

– Было темно... огни костров... привязанный к столбу человек... – говорил тихо, опасливо оглядываясь по сторонам, Штаден. – Палачи, словно бесы, ловко прыгали вокруг Арца, вырывая из него куски мяса раскаленными клещами... Мне казалось, что я нахожусь в аду... на том свете... Большой выдумщик финляндский герцог Иоанн! Арца считали тайным слугою вашего царя.

Гусев качал головою, удивленно расширив глаза и приговаривая: «Может ли то быть?!»

Генрих Штаден рассказал кое-что и о себе.

Его скитания заинтересовали слушателей. Он попал в Ливонию в то время, когда разгорелась жестокая междоусобная борьба двух братьев: шведского короля Эрика XIV и Иоанна, герцога финляндского... По его словам, трудно было ему, бедному немецкому человеку, заниматься торговлей на базарах в Ливонии. Его ограбили дочиста ландскнехты шведского короля.

Мало того, ему, Генриху, пришлось посидеть в тюрьме. Выйдя на свободу и насмотревшись на ливонские «порядки», Штаден решил бежать в Московское государство. Так ему советовали латыши, которые расхваливали русских людей и бранили ливонских рыцарей, угнетавших латышский народ.

Штаден сказал, что он еще у себя на родине слышал о воинских успехах московского царя, о богатстве русских городов, о гостеприимстве московитов.

Генрих возвел глаза к небу, как бы благодаря Бога за то, что он помог ему, бедному немцу, добраться до Москвы. Теперь он толмачит в Посольском приказе. Штаден сказал, что это великая честь для него.

Никто не заметил скользнувшей по лицу Штальбрудера иронической усмешки при последних словах Штадена. Штальбрудер знал и еще кое-что о Генрихе Штадене, о чем тот умолчал. Ведомо было ему, что этот же самый Штаден вместе с польскими солдатами участвовал в набегах на порубежные русские города и села, жег и грабил их, как и другие, и разве не за то попал он в тюрьму, что слишком много присвоил себе русского добра? Но об этом должен знать только он, немец Штальбрудер. Да и мало ли тайн имеется у каждого из чужестранцев, попавших сюда!

Штаден сумел всех рассмешить, описывая свои приключения.

Не смеялся один Роде.

Генрих хорошо знал вельмож, окружавших германского императора Фердинанда. Он высмеивал императорского советника графа Гарраха и его друзей, представлявших себе московского царя в образе медведя, питающегося человеческим мясом. Они уверяют, что царь Иван живет в берлоге, что он людоед и окружен хищниками, которым чуждо все человеческое. Царь не ляжет спать, не убив кого-нибудь из своих подчиненных. Всех пленных ливонских девушек он свел в свое логовище и там их насилует и убивает. То делают и его приближенные. Вельможи императора всячески стараются восстановить европейские государства против Москвы.

Рассказывая об этом, Штаден смешно гримасничал, то и дело вскакивал с места, взъерошивал свои рыжие волосы и сам первый заливался хохотом.

Граф Гаррах, по словам Штадена, запугал померанского, саксонского, бранденбургского курфюрстов. Август Саксонский теперь по ночам не спит, вскакивает в страхе с ложа, молится Богу, чтобы он отвратил «московскую опасность» от немецких государств. Но он малодушен, этот герцог. Он старается идти по стопам Дании, с королевским домом которой он связан родственными узами. Дания ищет дружбы с Россией, и Август поневоле придерживается того же. Его трудно понять.

Речь Штадена неожиданно прервал Керстен Роде. Увесисто ударил он по столу кулаком, так что кувшины и блюда на столе подпрыгнули.

– Болтайте о немцах, Данию не трогайте!.. Что вы понимаете о Дании? Бог обидел Данию, сделав ее соседкою немцев. Вот все, что я имею сказать!

Роде побагровел от гнева, налил себе вина и залпом выпил.

Наступило молчание. Запахло скандалом. Немцы с вымученными улыбками переглянулись. Гусев насторожился, сказал примирительно:

– Наш государь батюшка добр и приветлив ко всем чужестранцам. Ежели ему правдою и честью служат, никакой обиды тем людям не бывает, царь их кормовыми деньгами и поместьями одаривает; коли прямит душою ему чужеземец, он того своими милостями не оставляет, ублажает по-царски и на обзаведенье деньги дает. Нет в мире таких народов, коих Иван Васильевич без вины отвергал бы... Дружбой русский царь не гнушается... Немало у нас на службе немцев, есть и аглицкие, и угры, и литовцы, и датчане, и многие другие, их же Иван Васильевич по заслугам честит и награждает. Нам, русским, запрещено открывать кабаки, – чужеземцам можно. И от таможенных пошлин чужеземцы освобождены. Идя встречу инозем-

цам, государь требует и к себе уважения и покорности. Надо помнить, что вы находитесь не у себя дома, а у нас, в государевом царстве. Коли Иван Васильевич взял на службу тебя, Генрих, то сделал это для пользы царства нашего. То же самое и с ним. – Гусев указал в сторону Роде. – И все вы должны жить дружно, а посему наполним до краев сосуды вином и выпьем за здоровье мудрого государя батюшки Ивана Васильевича!

Все с особой торопливостью потянулись к своим чаркам и быстро осушили их.

Однако успокоить корсара оказалось не так-то легко. Он поднялся во весь свой необыкновенный рост и тихо густым басом произнес:

– Кто запретил немцам плавать в Нарву с военными товарами, закупленными в чужих странах московским царем? Ваш император. Вспомните его указ. Вы!.. вы... мешаете плаванию по Балтийскому морю! Вы, немцы, первые насажали пиратов в балтийских водах... Шведские и польские разбойники творят бесчиние с легкой руки ваших немецких властелинов... Вот, глядите!

Роде протянул сжатый кулак над столом.

– Этой рукой я сверну голову любому, кто будет мешать царю плавать по морю! Море не только польское, шведское, но и датское, и русское!.. Вот как! Три короля приговорили меня к смертной казни. Так пускай их будет десять – меня это не смутит. Буду бороться с бесчинствами их пиратов, как подлинный, Богом помазанный король корсаров.

Роде был страшен. Лицо его, с большим шрамом на щеке, стало красным, глаза горели ожесточением, сильные белые зубы сверкали, словно у зверя, и весь стан его, слегка сутулый, был наклонен в каком-то зловещем напряжении, будто Роде готовился прыгнуть на сидевших против него немцев.

– Я датчанин, но не пощажу я и датских каперов, коли они мне попадутся. Отправлю и их к чертовой бабушке на морское дно!

Опять выступил со своею плавною, спокойной речью невозмутимый дьяк.

– Правду сказываешь, благородный человек, – произнес он, размеренно, в такт словам, делая движение правой рукой, – указ германского императора, два года назад изданный, сильно огорчил нашего государя. После того указа лютое учинилось каперство на море, но что поде-лаешь: Бог судья немецкому владыке и его вельможам! Однако повинны ли в том деле честные немецкие люди, перешедшие на службу к нашему царю и сидящие за этим столом?

– Нейн! Ми не повинен! Немецкий кюпец разорен от той указ, – грустно покачал головою Штальбрудер. – Не один кюпец, но и простой человек, ремесленник, им нет работа. В германских город голодно, трудно жить. Герои, подобные полковник Юрий Францбек, и те уходят в Москву, для службы царю...

Штаден сорвался с места, воскликнув:

– А Фромгольц Ган? А Франциск Черри? А Фридрих Штейн? Много, много наших здесь, в Москве... И все они осуждают тот указ!

Роде ядовито улыбнулся:

– Бродяг в Германии немало... Видел сам.

– Нечего кивать на Германию – весь запад кишмя кишит бродягами... – обиженно отозвался молчаливый Каспар Виттенберг. – А отчего? Постоянные войны разорили народ, упали ремесла, упала торговля... Вот отчего!

– В Дании бродягами хоть пруд пруди! – засмеялся Штаден, довольный тем, что против Роде ввязались в разговор и другие.

– Бог милостив, – торопливо подливая гостям вино, примирительно произнес Гусев, – царь людьми не обижен... Всякого дела мастеров посылает ему Господь из-за моря: и оружейников, и корабленников... Ну что ж! Милости просим. Жалуйте! Матушка Москва не обедняет. За Яузой в слободах, на Болвановке и у нас, в Наливках, всюду добрые иноземцы расселились, в полном совете с царевой властью...

– Русский царь слишком добр!.. – мрачно улыбнулся Роде. – И неосторожен.

– Не нам судить, – холодно заметил Гусев.

– Наш император тоже добр... – вспыхнув от досады «на этого назойливого дылду-датчанина», с гордостью произнес Виттенберг.

Штаден обратился к Керстену Роде с вопросом, кто он и по какой надобности приехал в Россию.

Немедленно вступил в беседу дьяк Гусев:

– Не в обиду будь сказано, о том один царь батюшка ведает. Чужеземцу не след допытываться... Всяк сверчок знай свой шесток! Пей!

Датчанин, окинув надменным взглядом немцев, процедил сквозь зубы:

– Скоро в Германии узнают, кто я, зачем пришел в Москву.

Вино давало себя знать.

В речах немцев зазвучал задор. Они начали смеяться над датчанами, что, мол, они плохие вояки. Их дело стада пасти, овец стричь... Шведы их бьют, и поделом. Датчане не умеют и плавать, и воевать на море... Шведский корабль в Балтике «Марс» осаждали все датские корабли и все-таки не могли осилить его.

Керстен Роде сначала угрюмо сопел, слушая немцев, а затем вдруг поднялся и, сжав кулаки, обрушился на Штадена, едва не опрокинув стол. Штаден увернулся, выскочил из горницы за дверь. Дьяк Гусев стал на дороге, стараясь успокоить датчанина, который, однако, успел сбить со скамьи на пол Штальбрудера и Виттенберга.

Немцы спрятались в переднюю горницу, со страхом следя за Керстеном через щель в двери. «Чудовище!» – шептал перепуганный Штаден.

Илья Гусев с трудом усадил датчанина обратно на скамью.

– Полно, дружок... – приговаривал он. – По-нашему так: языком мели, а рукам воли не давай. В Москве есть на каждого своя управа, коль к тому нужда явится... Уж кому немцы так назлобили, как англичанам, а до драки у них все ж дело не доходило. Христос с тобой, дядя!.. Ишь, силища какая! Есть у меня друг, пушкарь один... Молодой парень, Андрей Чохов, вот бы тебе с ним побороться. Кто из вас кого!.. Надо бы свести вас... Право! Голиаф какой объявился! Нам свою силу тут не показывай. Сами с усами.

Роде нескорю успокоился. Сел за стол. Сбил три сулеи на пол. Опустив голову на руки, задумался, взволнованно покашливая. Немцы тихо, на носках, вернулись в горницу, косясь исподлобья на датчанина. Они не ожидали такой решительности с его стороны. Через несколько минут вернулся и Штаден. Как ни в чем не бывало уселся он за стол, проговорив:

– На дворе темно... Вьюга!.. Трудно привыкнуть немцу к московской зиме. Невозможно.

– Декабрь... Чего же другого ждать? – произнес Гусев, стараясь заглушить происшедшее. – Какая уж это зима – без холодов! Мороз людям на пользу. Кровь разбивает.

Роде, не глядя ни на кого, налил себе вина. Поднял чарку и нарочито громко крикнул:

– За датского его величество короля!.. Я жду. Ну! Наливайте, коли вам дорога жизнь.

Немцы робко переглянулись, встали, подняли чарки и нерешительно, дрожащими руками налили себе вина.

– Ну, – рычал Роде.

– Ничего... ничего... Ну! Изопьем винца-леденца! Чего лучше? – заюлил Гусев, поспешно наполнив свою чарку вином.

Немцы торопливо выпили. Последним – Роде, искоса следивший за немцами.

После того Штальбрудер, покачиваясь, оглядел всех мутными, хмельными глазами и, подняв свою чарку, сказал неуверенно:

– За римского кесаря, немецкого императора!..

Немцы подняли свои чарки.

Роде не шевельнулся, зло плюнул в угол.

Илья Гусев толкнул его:

– А ты что же? За твоего, небось, пили.

– Какой он кесарь? – махнув небрежно рукой, усмехнулся Роде. – Римских кесарей теперь нет! За здоровье покойников не пью!

Немцы повторили свой тост.

В это время дверь распахнулась и на пороге показался Василий Грязной, в снегу, с саблей через плечо.

– Выплесните вино! – крикнул он. – Долой! Встаньте все. Слушайте. Скончался отец наш духовный, батюшка митрополит Макарий.

Опустив головы, выслушали эту весь все находившиеся в избе.

– А теперь, – прервал молчание Грязной, – нам надлежит выпить по чарке за его святую душу!

– От человек! – со слезящимися от удовольствия глазами воскликнул Штаден. – Люблю!

Все оживились, торопливо наполнив свои чарки.

– Ты, Генрих! – обратился Грязной к Штадену. – Разворачивай корчму, буду гостем твоим до смерти! Государь разрешил.

Штаден низко поклонился Грязному.

Указав рукой на Керстена, Грязной сказал:

– Поздравьте его! Первым человеком он в нашем царстве будет. Давай выпьем с тобой за нашего милостивца государя!

Грязной налил себе и корсару вина. Оба выпили и облобызались.

Немцы с завистью в глазах следили за этою сценой.

– Уважайте его, почитайте, как первого государева слугу!

Гусев переводил датчанину слова Грязного.

Роде низко, с достоинством, поклонился, приложив ладонь правой руки к сердцу.

– Рад служить величайшему из европейских властелинов!.. Датчанин свое слово выполнит с честью! Скажите вашему великому государю, что я готов умереть за него! Клянусь в этом!

Керстен поднял правую руку вверх.

– Мы тебе и так верим... Не клянись! Давай изопьем еще раз... Теперь за благо твоего дела!

Немцы были молчаливыми свидетелями этого непонятного им разговора между Грязным и Керстеном Роде, которые вели себя так, как будто они одни в этой горнице. Штаден сразу возненавидел датчанина. А теперь ему и вовсе было обидно, что Грязной изобразил его в глазах Керстена каким-то шинкарем, а с ним, с Роде, говорит о загадочных важных государственных делах. Немцы переглядывались в злобной молчаливости.

«Подожди, рассчитаемся!» – мысленно бросил угрозу Керстену с трудом сдерживавший свою ярость Генрих Штаден.

## IX

Дворянин Иван Григорьевич Воронов был одним из тех слуг государевых, которые честны, усердны, способны ко всякому мастерству и знанию и в то же время пребывают в неизвестности, остаются незамеченными. Они за каждое дело берутся с увлечением и усердием. Так и с ним было. Он – то дьяк Посольского приказа, овладевающий двумя языками, выполняющий за границей поручения государя, то рядовой приказный дьяк, то строитель пристанищ, то пушкарь, то судостроитель, то простой гонец из Разряда.

Во времена Сильвестра и Адашева Воронов выше приказного подьячего в чинах не поднимался, – не давали ходу; зуб против него имел Адашев. А за что? Хотел Воронов пользу государю же принести. Написал челобитную о новом виде корабля, способного легко и без-

опасно ходить и по рекам и по морям. Да спроста, помимо Сильвестра и Адашева, ахнул челобитьем прямо к царю, в ноги ему на Красном крыльце поклонился, в его царские руки подал свое писание. Осерчал тогда крепко на него Алексей Адашев, едва в темницу не бросил. За великую обиду для себя посчитал он челобитье помимо него. А ведь он, Воронов, так восхищался им же, Адашевым! Всегда считал его хорошим человеком.

И только после ухода от власти Сильвестра и Адашева вздохнул полной грудью Иван Григорьевич.

Кому горе приключилось от той перемены в государстве, а кому и радость. Ему, дьяку Воронову, и другим таким людям – радость.

Большого ума были царские советники Сильвестр и Адашев и ко благу государства весьма рачительны, а простой вещи не поняли, что не ради наград, не ради царских милостей и себялюбия голову ломал день и ночь над своим потешным кораблем подъячий Иван Воронов, но для пользы русского царства.

Иван Григорьевич еще молод, ему всего тридцать пять лет. Румяный, здоровый. Ну что ж! Молодость – не грех, старость – не смех, а государь молодыми не пренебрегает, дела им большие дает. Вон Борис Федорович Годунов – и родом незнатен, и совсем зеленый юноша, давно ли рындюю был, – а ныне в Поместный приказ царем посажен дела вершить важные. Царь не боится молодых, не обходит новых людей!

Сильвестр, Адашев и их друзья недолюбливали тех, кого государь помимо них брал на службу. Иван Васильевич – смелый на людей, даже на иноземных.

Что ни день – чье-нибудь новое имя у всех на устах. Особенно много народа понадобилось государю для нарвского морского плаванья. И то сказать: новое дело – море на западе, и люди здесь нужны новые.

В Посольском приказе Иван Григорьевич слышал, будто царь даже морского разбойника, самого страшного пирата, к себе на службу взял, не побоялся.

Дьяк Колымет встретил на улице Воронова и сказал, смеясь:

– Ты, как и я, трудишься, усердствуешь, а толку никакого! Никто не видит наших трудов. Вот и ныне на самое трудное дело тебя посылают, а добра и тут не жди. Один позор: на разбойника будешь работать... корабли ему строить!.. Вон возьми Кускова, – уж сотником стал да за одним столом с царем пирует... А кто он такой? Простой дворянин он, как и мы с тобой. Нет уж! Видать, так и помрем мы с тобой, не солоно хлебавши... Правды нет. Она, матушка, истомилась, злу покорилась...

Воронов пожал плечами.

– Каждому свое счастье, – сказал он с добродушной улыбкой, – а работать надо! Как без работы-то? Грешно!

На том и разошлись. Надо было торопиться в Земскую избу.

По наказу государя вызвал к себе Воронова боярин Бельский. Человек строгий, мало говорит. У государя в числе приближенных бояр. Удивительно! Колымет наперед знал, что надо ему, Воронову, ехать в Нарву, готовить к весне корабли. Дело тайное. Откуда он узнал?! Леса будто бы наготовили видимо-невидимо в Иван-городе. Боярский сын Шастунов уже там, и боярский сын воевода Лыков тоже.

– Царь, милостивец наш батюшка, Иван Васильевич, не забыл тебя, – сказал боярин Бельский, – возлагает на тебя ту важную работу, храни ее в тайне. Яви свою любовь и прилежание к государю и родине, чтобы досада учинилась от твоей пригожей работы иноземным мастерам-розмыслам<sup>15</sup>. Пускай не думают иноземцы, будто русский человек Богом забыт и не умудрен корабельному делу. Государь Иван Васильевич терпит великий ущерб своему царскому дородству, когда его люди в чем-либо уступают иноземчишкам. «Мы не боимся чужих сил,

---

<sup>15</sup> Инженеры.

пользуемся, коли во благо, – говорит наш батюшка государь. – Чужеземную мудрость не отвергаем, коли надобно... А полонить чужеземной премудрости нас не придется... Кабы то случилось, то и государство наше не было бы столь могуче!» Да благословит тебя Господь Бог на то доброе, великое дело! Парень ты смышленный. Собирайся, и айда в Иван-город!

Поклонился низко, до самой земли, Иван Григорьевич боярину Бельскому и быстро собрался в путь-дорогу. Перед выездом Богу помолился у Николы-Сапожок. Иконку, благословение матушки своей, захватил с собой.

Боярин Бельский человек сорок плотников и кузнецов насажал в сани. С этим обозом в крепком кожаном возке должен был ехать и Воронов.

Наказ таков: на постоянных дворах не задерживаться, лошадей поить и кормить во благовремени, чтобы силу имели и в Иван-город путь без промедления совершили. До весны осталось немного. О ходе работ под Нарвой доносить ему, боярину Бельскому, понедельно посылая для того особых гонцов в Москву. За хорошую работу всем людям Нарвского пристанища награда будет, а за худую работу гнев государев ляжет.

Плотники и кузнецы подобрались молодец к молодцу. Многие из них – опытные мастера по части корабельного строя, это те, что в Поморье на работах были и с английскими мореходцами на Студеном море сдружились. Всех их в Москву из Архангельска свезли. Каждый хорошо известен боярину Бельскому. Время такое: человек, знающий мастерство, – государю находка! Хороши мастера-чужестранцы, что на службе у царя, слов нет, однако, как ни одаривай их, какими милостями не осыпай, все они чужие люди, наемники.

С пилами, с топорами, отулупившись, затянувшись кушаками, деловито разместились рабочие во многих розвальнях. Лица суровые, раскраснелись на морозе; брови, ресницы, бороды покрылись инеем.

Помолились: «Господи, благослови! В добрый путь!»

Под свист, галдеж возниц снялись с места; заскрипели полозья, и длинный, пестрый обоз медленно пополз из Сокольничьей роци в поля, провожаемый суровым взглядом гарцевавшего на коне седобородого боярина Бельского.

Утро тридцать первого декабря было тихое, пасмурное. Непохоже на зиму. Накануне выюжило, теперь моросил дождь. Дороги почернели, распустились. С крыши потекло. Голуби, как всегда, весело копошились в навозе на кремлевской площади против Вознесенского монастыря.

Молодые послушницы щедрыми пригоршнями бросали им зерно, разомлев, разрумившись от оттепели. Стремянная стрелецкая стража с секирами за спиной, лукаво косясь в их сторону, объезжала кремлевские улицы. Тоскливо, уныло тянулся однообразный похоронный благовест со всех кремлевских и посадских церквей.

Москва была оповещена глашатаями о кончине смиренного первосвященника, блаженной памяти митрополита всероссийского Макария.

В доме двоюродного брата царя, князя Владимира Андреевича Старицкого, сошлись его друзья, бояре и дьяки, чтобы помянуть почившего священника. Увы, ни на лицах собравшихся, ни в речах их не было скорби.

Напротив, в отдельных словах кое-кого, холодных, сухих, послышалась скрытая неприязнь к почившему иерарху.

Иван Петрович Челяднин, развалившись в кожаном кресле, ранее принадлежавшем ушедшей в монастырь матери князя Старицкого Евфросинии, и перекрестившись, сказал с явным равнодушием:

– Ну что ж! Стало быть, уж так Господу Богу угодно. Да оно и к лучшему. Греха меньше будет. – Откинув на затылок свои пышные, курчавые, с проседью, волосы, вздохнул: – Бог его

знает!.. Не каждого человека поймешь... Кем был покойный батюшка митрополит? Господь Бог ведает!.. Не пойму я что-то.

Воевода Морозов встал со скамьи, заложил руки за спину. Высокого роста, с крупными чертами лица, выражавшими упрямство, решительность и некоторую надменность, он всегда внушал служилым людям смешанное с робостью уважение к нему. И теперь все находившиеся в княжеской палате невольно притихли, угодливо обратив в его сторону лица.

– Великий князь – прямой ученик митрополита... Нужно ли тут прилагать льстивое извятие словес?.. Не могу аз помянуть его со смирением и скорбию... Увольте! Не заслужил он того!

Морозов напомнил о бывшем при отце царя, великом князе Василии Ивановиче, митрополите Данииле. Не он ли, зазывая северского князя Василия Шемячича в Москву, клялся «на образ Пречистые Богородицы, да на чудотворцев, да на свою душу», что Шемячич будет неприкосновенен, коли приедет в Москву, что великий князь ему никакой досады не учинит, а когда Василий Иванович бросил прибывшего в Москву Шемячича в темницу, митрополит Даниил ничего не сделал, чтобы освободить князя. Он заведомо обманул несчастного Шемячича. В угоду царю не погнушался преступить клятвы перед Богом. А развод Василия Ивановича с Соломониею Сабуровой? Восточные патриархи, выше стоящие над московским митрополитом, отказали великому князю в разрешении развода, почитая то великим грехом, нарушением христианских уставов. А митрополит Даниил, вопреки неблагословию восточных патриархов, сам благословил развод великого князя наперекор учению евангелия и всем церковным уставам. Покойный Макарий восхвалял Даниила за это, почитал его как своего учителя...

– Да... – мрачно насупившись, охрипшим от волнения голосом произнес Морозов. – Митрополит безжалостно, насильно постриг супругу великого князя Соломонию в монашество. И потом благословил новый брак великого князя с иноземкою Еленю Глинскою, да и сам венчал их... Мы этого не забыли, хоша и давно то минуло... Стало быть, царь выше Бога для наших митрополитов?!

– Иосифляне!.. Все они таковы... Все они отвернулись от истины евангельской ради угождения прихоти тиранов... – возмущенно воскликнул тоненьким голосом дьяк Поместного приказа Путило Михайлович, маленький, седой, курносый толстяк.

Ему дружно поддакнули князя Шаховской и Ушатый, дьяки Колыметы.

Боярин Никита Романович Одоевский медленно, с вдумчивыми остановками, поглаживая тощую седую бороденку, тихо, грустно проговорил:

– Рушится вера!.. Нет у вас праведников!.. У всех на глазах истребил государь Данилу Адашева с малолетним, ни в чем не повинным сыном; загубил Иван Васильевич и сродников Адашева три души – Сатиных; погубил Ваню Шишкина, родича Адашева... Где же был наш первосвятитель? Молча взирал он на беззаконное мучительство. Или очи его запорошило, или разум его оледенел, или за рубежом отечества он находился? Молчал митрополит, молчала с ним вся православная церковь!.. Царь наступил на горло нашим каноникам... Митрополит и тут равнодушно взирал на ужасную судьбу своих собратьев, на посрамление Божиих пастырей.

– Проклятие! – рявкнул басистый, неуклюжий Иван Булгаков, государственный казначей. Соседи дернули его за рукав: «Не у места проклятие». Он оглянулся на них хмельными глазами, с отчаянием махнул рукой: «Все одно!» Матерно ругнулся.

Его горячность напугала всех. Хозяин дома, Владимир Андреевич, даже привскочил на месте, словно ужаленный; встревоженным взглядом окинул своих гостей, поманил к себе пальцем своего верного слугу, стрелецкого десятника Невклюдова, шепнул ему на ухо, чтоб проверил стражу у входов.

Стройный, услужливый стрелецкий десятник быстро удалился из горницы.

Князь Горбатый-Шуйский, бледный, тонкий, сухой человек, вполголоса намекнул на нелюбовь польского короля и католических каноников к Макарию. Говорил он не торопясь, вкрадчиво, повертывая лицо то в ту, то в другую сторону.

– Того ради... – сказал он с ядовитой усмешкой. – Мы не в убытке... Королевские люди на нашей стороне. Плакать нам не о чем... Покойный угождал царю, льстил ему... Ну, и Бог с ним! Мы тут ни при чем. Добро, хоть царь не забывал пастыря... По взятии Полоцка Иван Васильевич не нам честь воздал, а ему, Макарию!.. Михайла Темрюка, князя Черкасского, послал к Макарию. «Твоими-де, богомолец, молитвами Бог отдал нам Полоцк...» Серебряный позолоченный крест с алмазами ему послал... А мы кровь проливали!.. Ночи не спали!.. Это ему ни к чему. Э-эх, да што говорить! Студено на душе. Студено!

Иван Булгаков не унимался, ему хотелось еще что-то сказать, его одергивали соседи-дьяки.

– Полно вам!.. – оттолкнул он их. – Что тут разглагольствовать? Ласкатели – те же злодеи! Лукавый дед был Макарий... Туда ему и дорога, прости Господи!.. Лукавец... Хитрец!.. Пора бы и царьку сдохнуть...

В это время вернулся Невклюдов, шепнул что-то на ухо Владимиру Андреевичу... Тот поднялся, бледный, растерянный, замахал на всех руками:

– Молчите. Нас подслушивают... Малютины похлебцы!

– Как же нам теперь быть? – прошептал Челяднин.

Все окружили его плотным кольцом в напряженном ожидании дальнейших его слов.

– Как же нам теперь быть? – повторил он. – Князь Андрей Михайлович советовал... –

Челяднин закашлялся.

– Что советовал? – шепотом спросил Владимир Андреевич.

– Ну... как бы тебе сказать, чтоб ты понял? Тогда ты не был с нами... Он советовал – голос нам свой поднять...

– И дело совершить! – перебил его Михаил Репнин хриплым от злости голосом, сжав волосатые кулаки. – Да! Совершить! Во время похорон.

Все оглянулись на него.

– Чего глаза тарашите? Да, дело!.. Буде болтать... Противно слушать ваше нытье!.. Пора! Репнин с отвращением плюнул на пол.

Владимир Андреевич слегка побледнел и, едва дыша, промолвил:

– Страшно! Что вы говорите? Опомнитесь!

– А коли тебя на плаху потащат, тогда не страшно? – огрызнулся Репнин, сверкнув наливыми кровью глазами.

– Того так и жди, – сказал Горбатый-Шуйский.

– Каждый вечер я жду... вот... вот... – тяжело вздохнул Турунтай-Пронский. – Уж и с детками простился, в вотчину их отправил...

– Ох, ох, милый!.. И я тоже... – махнул с отчаяньем рукой, горько улыбнувшись, Фуников.

– В монастырь уйду!.. Давно уж думаю о том... – тяжело вздохнул раскосый князь Щенятев, перекрестившись.

– Княжеский род в опасности! Бояре в опале!.. Недолговечна Русь, коли нас не будет... После этих слов Челяднин кивнул головой Владимиру Андреевичу:

– Что скажешь, князь? Что присоветуешь? Тебя мы хотели бы царем... В дни болезни царя Ивана мы уже присягали тебе...

С убитым, растерянным видом Владимир Андреевич тихо ответил:

– Воля ваша! Видит Бог, не стремлюсь я к власти. Не хочу силою похитить ее у брата своего.

Вступился Михаил Репнин:

– Полно тебе, Владимир Андреевич, не криви душой... Кто не хочет власти? А уж тебе-то и грех бы говорить... Мало срубили головушек за тебя, да и еще срубят!.. А чем ты заплатишь нам за эти головы? Отказом. Негоже так-то!..

Челяднин остановил Репнина:

– Не тяни его насильно в цари!.. Пускай князь сам подумает. Нам будет конец – и ему тоже.

– Некогда думать! – сразу крикнуло несколько голосов. – Надобно скорее.. Курбский ждет... Смерть митрополита...

Челяднин с улыбкой покачал головой:

– Не горячитесь, бояре! Горячностью дело сгубите. И другое нам говорил Курбский: коли со смертью митрополита дело не выйдет, так бы в походе... Иван Васильевич собирается сам с войском идти в Ливонию... Тебя, Репнин, он хочет взять с собою, и тебя, Турунтай, тож... Двинуться он хочет к Риге, а по дороге Юрьев... князь Андрей Михайлович... а в соседстве Псков и Новоград... Чуете, бояре? Кольцом окружим его!

Тяжелый вздох многих князей и бояр был ему ответом.

– Что ж молчите?

– Скорее бы! До лета скоро ли! Душа истомилась... – перекрестившись, простонал Щеня-тьев.

– Много нас падет до той поры... – скорбно покачал головою родственник Курбского, князь Львов Федор.

– Э-эх, бояре! бояре! Доколе же протянется истома та? Доколе будете вы холопствовать? – закричал, а не заговорил волосатый, злой, давясь слюною, Михаил Репнин. – И ты, Иван Петрович! Плохо ты наш наказ выполняешь... Сам ты качаешься, словно былинка от ветра... Веди нас во дворец!.. Я возьму своих людей... Ты своих... Вот на похоронах митрополита... и порешим! Все приведем своих молодцов... Не успеет ахнуть, как мы...

После слов Репнина наступила тишина. Владимир Андреевич сидел, опустив голову, тихонько поколачивая кончиком своего посоха по острому носку сафьянового сапога. Челяднин задумчиво потирал лоб. Остальные хмуро, исподлобья косились друг на друга, словно желая узнать по лицам, как встречены слова Репнина.

Заговорил Колымет Иван:

– Прошу прощенья, коли не по чину что скажу!

– Дерзай! – ободряюще кивнул ему Челяднин.

– Князья и бояре, аз, как малый чин, однако приближенный к Курбскому, прошу вашу милость выслушать меня!.. В недалеком времени еду я в Юрьев. И думается, было бы наиболее удобно летом... Князь так же думал, а в нынешние дни не предвидится удачи... Опасался Андрей Михайлович, как бы не сорваться да в пропасть всем не упасть... Тогда, говорил он нам, и вовсе погибнет надежда...

– Не рука нам вперед забегать!.. Семь раз отмерь, один отрежь! Так я думаю, друзья мои... – решительно заявил Челяднин. – Надо повременить.

Владимир Андреевич оживился.

– И я за то же! – твердо произнес он.

– А коли и ты за то же, нам и сам Бог велел, – обрадованно воскликнул Фуников. – Мы пока можем и без того...

– Можем и без того трон подрезать... в приказах и на полях брани... – докончил его слова Турунтай.

Среди бояр началось волнение. Всем захотелось поскорее освободиться от власти Ивана Васильевича, однако решиться на его убийство не хватало духу...

В конце концов порешили «отложить до лета, до царева похода к Риге».

Челяднин, по окончании боярского совета, обтирая на лице и шее пот, сказал:

– Сам Бог надоумил нас дело то отложить... Чует мое сердце – не ошиблись.

Погруженный в глубокий мрак Успенский собор пуст.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.